Литературно-художественный
и общественно-политический журнал

Выходит с июня 1955 г.
№1 (781) 2021

unost.org
юность.рф

ЮНОСТЬ

УЧРЕДИТЕЛЬ:
АНП «Редакция журнала
“Юность”»

«ЮНОСТЬ» —
зарегистрированный
товарный знак.
Правообладатель —
АНП «Редакция журнала
“Юность”»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Сергей Александрович
Шаргунов

Выпуск издания
осуществляется
при финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям

Лиц. Минпечати №112.
ISSN 0132-2036

Наша почта:
unost-org@mail.ru

Наш сайт:
unost.org
юность.рф
Мы в социальных сетях:
facebook.com/unost
vk.com/zhurnaliunost
Instagram/@zhurnaliunost

Адрес редакции:
125047, Москва,
ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8, стр. 1

Для почтовых отправлений:
125047, Москва,
а/я 182, «Юность»

Тел.: +7 (499) 251-31-22,
+7 (499) 250-40-74,
+7 (495) 250-40-95

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:
Ильдар Абузяров
Зоя Богуславская
Алексей Варламов
Анна Гедымин
Сергей Гловюк
Борис Евсеев
Тамара Жирмунская
Елена Исаева
Владимир Костров
Нина Краснова
Татьяна Кузовлева
Евгений Лесин
Юрий Поляков
Георгий Пряхин
Елена Сазанович
Александр Соколов
Борис Тарасов
Елена Тахо-Годи
Игорь Шайтанов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Сергей Шаргунов
Вячеслав Коновалов
Яна Кухлиева
Евгений Сафронов
Татьяна Соловьева
Светлана Шипицина

РЕДАКТОР-КОРРЕКТОР
Юлия Сысоева
РАЗРАБОТКА МАКЕТА
Наталья Агапова
ВЕРСТКА
Наталья Горяченкова
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Антон Шипицин
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Людмила Литвинова

Подписные индексы:
каталог «Почта России» —
П1972,
объединенный каталог
«Пресса России» — 71120

Редакция не имеет
возможности вести
переписку с авторами.
Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
Авторы несут
ответственность
за достоверность
предоставленных
материалов.
Мнения автора
и редакции могут
не совпадать.
При перепечатке
материалов ссылка
на журнал «Юность»
обязательна

Отпечатано
в ООО «Типография
«Миттель пресс»

Москва,
ул. Руставели, д. 14, стр. 6.

Тел./факс:
+7 (495) 619-08-30,
+7 (495) 647-01-89
E-mail: mittelpress@mail.ru

Тираж 3 500 экз.
Формат: 60×84/8
Заказ №

«ЮНОСТЬ»
© С.Красаускас. 1962 г.

На 1-й странице обложки
рисунок
Марины Павликовской
«Кино»

4 СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ
СЛУЖЕНИЕ СЛОВУ

КИНО

10 ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ
ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СИНИЦА

12 ВАСИЛИЙ АВЧЕНКО
ЮЛ: MADE IN VLADIVOSTOK

15 АННА МАТВЕЕВА
СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ

17 СУСАННА АЛЬПЕРИНА
РЕЖИССУРА ТИШИНЫ

21 ВАЛЕРИЯ КРУТОВА
КОНФЕТА ПО-КИЕВСКИ

24 ФЕДОР ШЕРЕМЕТ
В НАЧАЛЕ БЫЛ БАУЭР...

ПОЭЗИЯ

32 ЮЛИАНА УЛЬЯНОВА

37 АНДРЕЙ НИКОНОРОВ

41 АНДРЕЙ САМОХИН

ПРОЗА

46 ДЕНИС ГУЦКО, ДАРЬЯ ЗВЕРЕВА
ВЕЧНАЯ КЛАССИКА

57 ИВАН ТРОФИМЕНКО
ЗАПИСКИ ОХОТНИКА РФ.

65 ЕКАТЕРИНА ПЕТРИКОВА
ДВЕ МИНУТЫ
БЕССОННИЦА

69 КОЛЯ БАЦ
ДЕРЕВО
МОЛОКО
ПРАЗДНИК

82 МАКСИМ ШМЫРЁВ
МЕДВЕЖИЙ МОНАСТЫРЬ
ГОНЕЦ
РЫЖИЙ ОГОНЕК

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

92 ЕГОР АППОЛОНОВ
МАРИНА СТЕПНОВА: «ВСЯ ЛИТЕРАТУРА — ЭТО ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ВОРОВСТВО»

К 75-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА АЛЕЙНИКОВА

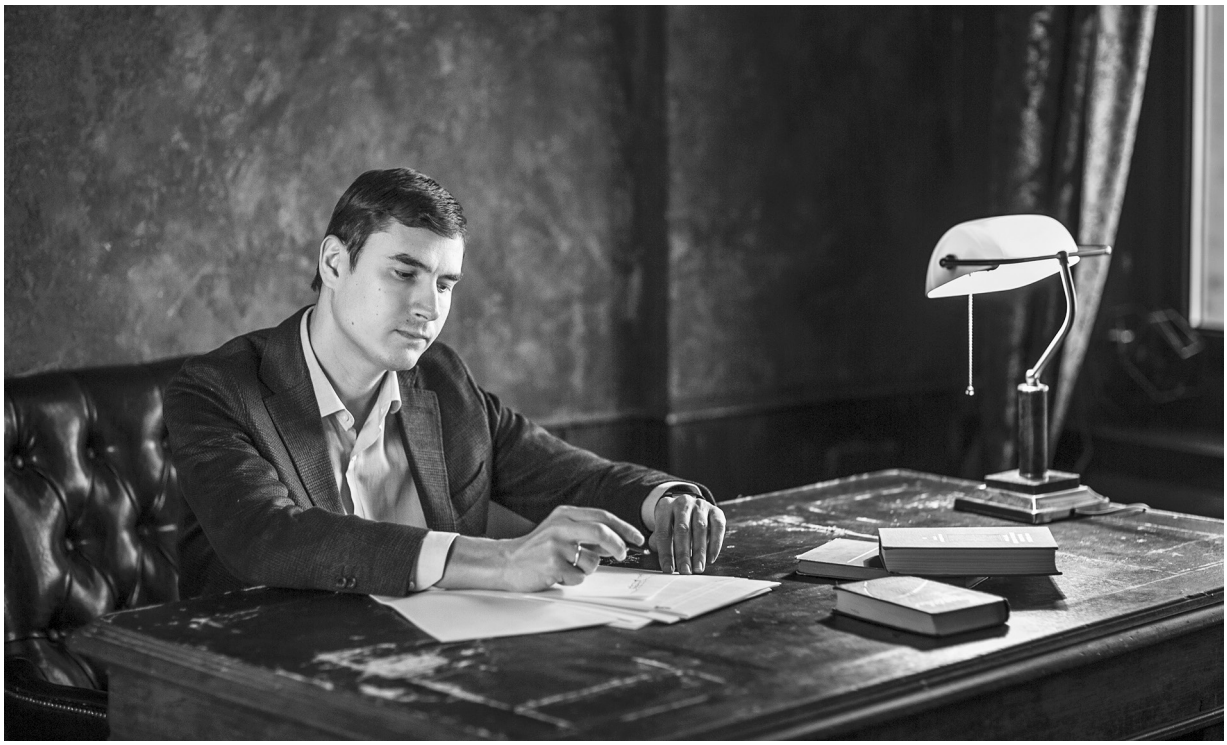
114 ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ
СТИХОТВОРЕНИЯ

118 ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ
БОГИНЯ ЯВЬ

ЗОИЛ

136 ИВАН РОДИОНОВ
ТРАГЕДИЯ НЕУДЕРЖИМЫХ

139 АЛЕКСАНДРА ЛЕЙФЕРОВА
ЛЕСТНИЦА ДАРИАНА



Главный редактор «Юности» Сергей Шаргунов возглавил Ассоциацию союзов писателей и издателей России. Ободряющее событие случилось накануне Нового года.

Юность №1
Январь 2021

СЛУЖЕНИЕ СЛОВУ

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

22 декабря должно войти в историю отечественной литературы. В этот день учреждена Ассоциация союзов писателей и издателей России.

Создана эта наша Ассоциация по доброй воле пяти крупнейших объединений: Союза писателей России, Союза российских писателей, Союза писателей Москвы, Союза писателей Санкт-Петербурга, Российского книжного союза.

Смысл ее существования — поддержка литературы и литераторов.

Инициатива глубоко обдуманная. К этому решению пришли непросто и не сразу, несмотря на тридцать лет размежеваний и разногласий.

Каждый писатель — свободная творческая личность. Каждая организация остается самостоятельной и равноправной. Все мы очень разные и дорожим этим. Но есть то, что собрало писателей и издателей вместе. Прежде всего желание следовать лучшим, самым благородным традициям отечественной словесности, любовь к литературе, родному языку и к своим читателям. Любовь, которая сильнее остального.

В Творческом совете Ассоциации — знаковые авторы. Зачастую у них очень разные взгляды и стилистические подходы, но теперь они проявили, прямо скажем, мудрость в деле сшивания порванного на клочки литературного пространства.

Это Валентин Курбатов и Виктор Лихоносов, Евгений Водолазкин и Алексей Варламов, Владимир Крупин и Владимир Личутин, Александр Кушнер и Олег Чухонцев, Леонид Юзефович и Герман Садулаев, Олеся Николаева и Дмитрий Воденников, Татьяна Толстая и Ольга Славникова, Роман Сенчин и Андрей Геласимов, Александр Проханов и Юрий Поляков, Ольга Новикова и Игорь Волгин, Евгений Рейн и Юрий Кублановский, Андрей Рубанов и Михаил Тарковский, Павел Басинский и Лев Данилкин, Денис Драгунский и Владислав Отрошенко, Гузель Яхина и Сергей

Лукьяненко, Денис Гуцко и Андрей Аствацатуров, Виктор Потанин и Борис Екимов, Игорь Золотусский и Дмитрий Новиков, Александр Терехов и Александр Иличевский, Сергей Чупринин и Андрей Василевский, Станислав Куняев и Владислав Артемов, и многие, многие другие... В том числе национальные писатели, например, Исхак Машбаш, Ренат Харис, Канта Ибрагимов... Редакторы ведущих литературных изданий, руководители главных издательств...

Спасибо учредителям, единогласно доверившим мне возглавить Ассоциацию. Большая ответственность, большая честь.

В Манифесте, который от своих организаций подписали Светлана Василенко, Николай Иванов, Валерий Попов, Евгений Сидоров и Сергей Степашин, ясно определены наши принципы и задачи.

Сегодня литературное сообщество при всем его ярком многообразии в значительной степени беззащитно. И объединились мы для того, чтобы отстаивать права, интересы, судьбы людей литературы. Сам статус писателя, до сих пор не имеющий юридической кодификации, должен получить серьезную социальную защиту.

Необходимо существенное обновление фондов библиотек, в том числе электронных. В библиотеках, школах, вузах и на других площадках писатели должны стать желанными гостями. Нужны мощные программы поддержки литературного процесса, включающие фестивали, образовательные мастер-классы, литературные чтения, широкие дискуссии по насущным вопросам литературы, кстати, способствующие развитию критики. Нужны арт-резиденции и дома творчества в разных регионах страны, где писатели могли бы жить и работать. Нужен поиск молодых авторов и поддержка талантов. Особая помощь требуется литературной провинции. Мы будем содействовать развитию национальных литератур народов России, переводу произведений национальных писателей на русский язык. Нуждаются в сохранении и спасении остатки писательского имущества и литературные издания, включая легендарные толстые журналы.

Все это требует упорства, энергии и последовательных действий.

В общем-то, пожалуй, событие беспрецедентное. Ничто не случится мгновенно, но уверен, все получится, если продолжится ради общего дела — служения слову.

Ассоциация, в которой удалось соединить таких разных и авторитетных писателей, не собирается участвовать ни в каких дрязгах и баталиях, но было бы здраво и естественно быть полноценным субъектом в разговоре с государством и всеми, кто хотел бы и мог поддерживать отечественную литературу. Те же театральные деятели, кинематографисты, художники, композиторы гораздо более скоординированы и способны отстаивать свои интересы.

Наблюдательный совет Ассоциации возглавил Сергей Степашин, президент Российского книжного союза. Человек, сделавший очень многое для мира словесности, особенно сейчас, когда пандемия ударила по издательствам и книжным магазинам. И вообще, без его мощного участия нынешнее дело никогда бы не срослось.

Часто повторяю: у нас есть не только нефть и газ, но и цветущая литература. Талантливые писатели в стране не переводятся, зато их переводят по всему миру. Большая и настоящая литература — это, конечно, признак сильной страны. Просто не хотелось бы, чтобы таланты вытеснялись на обочину. Россия по-прежнему литературоцентрична, мы — страна слова.

Постоянно езжу и убеждаюсь: у людей есть потребность лучше ориентироваться в современной словесности, читать новые и сильные книги. Поэтому поддержка писателей — это еще и помощь читателям, расширение их круга. Для этого, например, на канале «Культура» я затеял программу «Открытая книга» — разговор с писателем о его произведении. А еще нужно бы в соцсетях и ютубе увлекательно и дерзновенно продвигать классику и современность. И вообще, здесь мы уже выходим на разговор об образовании. Просвещение людей — это то, что делает их отзывчивыми, думающими, небезразличными. Те же поездки литераторов по школам и вузам — чем не нацпроект...

Теперь это не просто светлые желания и мечты.

Теперь появляется серьезный шанс все это осуществить.

КИНО

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СИНИЦА

ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ
Поэт, прозаик и эссеист. Родился в 1968 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного педагогического института. В 2007 году в рамках фестиваля «Территория» избран королем поэтов. Был автором и ведущим программ о литературе на «Радио России» и радио «Культура»: «Записки неофита», «Своя колокольня», «Свободный вход», «Воскресная лапша», «Поэтический минимум». Автор множества книг стихов и прозы.

Мы живем в разных фильмах.

Эту фразу я даже не помню, где услышал. Но это правда. И это все: приговор, безнадежность, факт. Если мы живем в разных фильмах, этого уже не переделать.

Я, например, живу в «Безымянной звезде». Был такой старый советский фильм, его снял еще молодой, сорокалетний, кажется, Михаил Козаков. Там играли такие же молодые Костолевский и Вертинская. Господи, подумал я сейчас, эти же фамилии молодым ничего не скажут. Но мне он нравился. Несмотря на все его недостатки, советские швы («наши играют иностранную жизнь»), несмотря на всю его сентиментальность. Ну не великий, да. Но что-то в нем было.

Например, там был хороший эпизод, физиологически достоверный, честный.

Вертинская играет яркую, взбалмошную барышню, которую ссаживают на провинциальной станции («в степи», как она говорит) с поезда, потому что у нее нет билета, только фишки из казино. И молодой учитель астрономии встречает ее на этой ночной станции, так как пришел забирать прибывшую из Бухареста редкую книгу по астрономии, потому что ему надо проверить, прав ли он, не почудилось ли ему, что он действительно открыл новую звезду, – и эта женщина поражает его.

«Когда я встретил вас тогда, на станции, вы были такая белая, ослепительная». Он дает ей приют на одну ночь. Рассказывает ей про свое открытие. «Вот же, вот же она, эта звезда, ну как же вы не видите?!» Влюбляется в нее.

Но эта ночь, как ей и полагается, проходит. Он бежит утром покупать ей какие-то шмотки (она же ехала в вечернем платье, с боа, с фишками), но перед этим он, уже одетый, садится на кровать и будит ее поцелуем.

И вот тут этот физиологический честный, идеально достоверный момент и наступает. Он, умытый уже, целует ее, только проснувшуюся, а она не дает ему своих губ.

Она как-то по кошачьи скользит по его губам щекой, отворачивает рот, не разрешает поцеловать с языком.

Неудивительно.

Она же только проснулась. Она не чистила зубы.

Нет, такая ослепительная женщина (потом ее именем он еще назовет открытую им звезду) никогда не даст мужчине свой слишком человеческий утренний рот. Она же не какая-то неумытая школьница, она femme fatale: она сама и есть эта самая белая звезда.

Поэтому она выскользнет под каким-нибудь благовидным предлогом в ванную комнату (там вместо душа лейка) и хоть пальцем, но эти зубы почистит.

В общем, это первое движение Вертинской уклониться – было идеальным.

Потом режиссер все-таки заставит ее утренний поцелуй Костолевскому, учителю астрономии, дать. И это, конечно, было неправильно. Потому что Вертинская по-женски эту невозможность несвежего утреннего поцелуя знала, чувствовала, а мужчина-режиссер – нет.

Ну а теперь не про поцелуй. А про саму коллизию этого фильма.

Костолевский, как мы догадались с самого начала, конечно же, потом потеряет навсегда свою ослепительную женщину.

Мы даже поссорились с одним моим товарищем, обсуждая этот фильм. (Делать как будто было нечего: лучше бы мы Тарантино обсудили.)

– Отвратительно и трусливо, – скажет он мне, посмотрев фильм. – Что он сделал, этот учитель младших и старших классов, чтоб задержать Вертинскую в своей захудалой жизни?
– Он отказался от нее, – ответил я. – Когда ее настоящий мужчина приехал в тот город на невиданном по красоте автомобиле, нашел ее («ты волновался из-за меня?», спросила она, «да», ответил он, «но недолго – я вспомнил, что у тебя, кроме игральных фишек, не было в этот вечер никаких денег, и стал планомерно объезжать все пригородные вокзалы: и я нашел тебя, я ведь всегда тебя нахожу»), учитель понял, что они с этой женщиной живут в разных фильмах. И нет у него ни такой силы, ни такого автомобиля, ни такой уверенности. А главное – нет у него этого знания, что эта белая, в шляпке и кудельках Вертинская – его. А у Козакова (это он приехал за ней на автомобиле) есть.

И дело тут не в лейке.

«Я ведь всегда тебя нахожу», это все, что мы хотим с той стороны любовной вселенной услышать. Даже не услышать, а просто почувствовать животом.

А не это все: «Там, рядом с Алголом» (ну вообще, не Алголом, а Алголем, но в фильме она почему-то называется без мягкого знака) «есть звезда, которая с этой ночи будет носить твое имя».

Кстати, о животе и залетевших птичках.

На мой балкон четвертый день прилетает синичка. (Зачем ты здесь? Я не кормлю птиц. Здесь ты ничего не найдешь.) Но она все равно прилетает.

Нервно прыгает с пола балкона на решетку, на сперва усохший, а теперь промокший букет (пусть полежит до весны, сгниет окончательно эта икебана). Это явление сюда и прыгание по букету – ее большая ошибка. Где-то там, на соседних, ее кормят, но она забыла: поэтому промахивается и залетает ко мне.

«Дура, тебя не тут любят, тебя ждут на другом. Другой человек рассыпает для тебя пшено или сало зимой вешает; может быть, это даже какая-нибудь бабушка», – говорю я.

Но синичка прилетает за манной небесной именно ко мне. Вечная наша ошибка: мы пришли не туда. Вышли не на той станции, или нас просто высадили, и вот мы стоим, здесь, в степи, и знаем: мы оказались не в том месте, не в тот час. Мир как иллюзия. Жизнь как не просыпавшееся сверху пшено. Сгнившая икебана.

Но есть человек, который будет методично облетать все балконы в поиске тебя. Где ты там наглоталась пшена, политого водкой? Где ты там нагадила на балкон? Где ударилась об стекло? Где упала?

Точнее, конечно, не человек. Синиц. Мужской род. (Синичка – женский, мужской – синиц. Ну не «синица-самец» же?) Запомни: этот странный синиц – именно твой.

Наплюй на провинциального учителя, оставь ему допотопную лейку, бери шляпку, садись в автомобиль. Только человек, который методично ищет тебя на всех балконах, стоит того, чтобы быть с ним. Только он.

Другого фильма не будет.

ЮЛ: MADE IN VLADIVOSTOK

О ПОБЕГАХ И КОРНЯХ, ИЛИ КОРОЛЬ СИАМА И БРОДВЕЯ КАК ПРОДУКТ РУССКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ВАСИЛИЙ АВЧЕННО
Родился в 1980 году в Иркутской области, вырос и живет во Владивостоке. Окончил журфак ДВГУ. Автор документального романа «Правый руль», беллетризованной энциклопедии-путеводителя «Глобус Владивостока», фантастической кинаповести «Владивосток-3000» (в соавторстве с Ильей Лагутенко), книги «Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях», биографии «Фадеев» в серии «Жизнь замечательных людей», романа «Штормовое предупреждение» (в соавторстве с Андреем Рубановым), «Олег Куваев. Повесть о нерегламентированном человеке» (в соавторстве с Алексеем Коровашко). Лауреат Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.Н. Арсеньева.

Отечественный зритель узнал Юла Бриннера благодаря вестерну Джона Стерджеса «Великолепная семерка» (1960). Мало кто тогда знал, что лысый сорокалетний серьезный парень с азиатчинкой в глазах – наш, можно сказать, соотечественник. Самый известный на планете уроженец Владивостока.

Владивосток – город провинциальный, сравнительно юный и небольшой. Знаменитостей неместного значения отсюда вышло немного. Юл Бриннер (1920–1985) – настоящий национальный герой Владивостока наряду с писателем Арсеньевым, капитаном Щетининой и музыкантом Лагутенко. Дух короля Бродвея, несмотря на смену поколений, по-прежнему живет в его родном городе, где Юл стал памятником и персонажем: к его 100-летию сразу два театра подготовили спектакли по пьесам местных авторов Виктории Костюкевич и Юрия Гончарова. А сын актера Рок, прошагав по городу в сапогах отца из «Великолепной семерки», замкнул полуторавековой межконтинентальный маршрут своего рода и даже завещает развеять часть своего праха над Амурским заливом…

Возникает вопрос: правомерно ли считать Юла владивостокским, если семи лет он попал в Харбин, двенадцати – в Париж, а двадцати – в Нью-Йорк?

Ключом к ответу может быть история его семьи, похожая на сюжет авантюрного романа.

* * *

Пролог: 1865 год, швейцарский юноша Жюль Бринер уходит в пираты. Попадает в Японию, где каким-то образом становится компаньоном британской судоходной компании. Патрон умирает, фирма переходит к Жюлю. Так начинается бизнес-империя Бринеров.

В юном Владивостоке юный Жюль создает пароходную компанию «Бринер, Кузнецов и К°». Женится на дочери заместителя начальника Владивостокского порта Наталье Куркутовой – именно от ее бурятских предков Юлу достался фирменный разрез глаз. Свидетели на свадьбе – Петр Колчак (дядя того самого) и предприниматель, родственник невесты Михаил Янковский, сосланный за Урал за участие в польском восстании. Жюль – теперь Юлий Иванович – принял русское подданство, стал купцом 1-й гильдии, почетным горожанином. В 1890 году у него пьет чай Чехов, возвращавшийся с каторжного Сахалина. В Сидими на юге Приморья Бринер строит усадьбу. Вот о чем можно снять вестерн, вернее, истерн: Янковские и Бринеры отстреливаются то от тигров, то от хунхузов…

В Тетюхе (ныне Дальнегорск) Бринер начал разработку свинца и цинка. Управляющим этой ветвью семейного бизнеса решили сделать одного из шестерых потомков Жюля и Натальи – Бориса – и от-

Часть его брутального имиджа – блестящий череп. Поводом показаться с голой макушкой стала роль короля Сиама, бривше го голову в буддийском монастыре. Шаг был вызывающим: Рок Бриннер пишет, что лысина в 1940-х считалась в США если не позорной, то комичной, и Юл одно время даже носил парик.

правили его учиться в Петербург, в Горный институт. Там он знакомится с Марусей Благовидовой, дочерью врача из Владивостока. Возвращаются они вместе.

Сын Бориса и Маруси, которого мир узнал как Юла Бринера, появился на свет 11 июля 1920 года во Владивостоке на улице Алеутской. За стеной комнаты, где принимали младенца, храпели японские интервенты. Новое достояние Дальневосточной республики назвали Юлием Борисовичем и крестили в православной церкви, притом что в городе имелись и кирха, и костел.

Вскоре Борис Бринер оставил семью и ушел к актрисе Екатерине Корнаковой (а та ради него бросила мужа – актера Алексея Дикого, позже игравшего Сталина, Кутузова и Нахимова). Борис Юльевич стал последним капиталистом СССР: договорившись с главой Высшего совета народного хозяйства Дзержинским о сохранении концессии в Тетюхе, он привлек английского инвестора и вновь запустил рудники. Но мир впал в Великую депрессию, цены на свинец и цинк рухнули, и в 1931 году фирму продали Советам. Национализированный комбинат «Сихали» возглавил Михаил Кокшенов – отец актера Михаила Кокшенова (в 1938-м Кокшенова-старшего расстреляют).

Юл с сестрой Верой и мамой, которую свекровь после ухода Бориса выгнала из дома вместе с детьми, в 1927 году попал в Харбин. Центр Китайско-Восточной железной дороги был тогда городом насквозь русским. Здесь жили белоэмигранты, на КВЖД работали советские служащие. Юлий учился в русской школе. Слушал Лемешева и других гастролировавших советских артистов.

В 1932 году, после оккупации Маньчжурии японцами, Маруся и дети едут в Париж. Позже Юл будет вспоминать, что в дороге он читал Достоевского, а в гитаре вез опий – и это мальчик 12 лет! Или здесь начинается его личная мифология? Подавая впоследствии документы на американское гражданство, он укажет местом рождения Сахалин, СССР. Будет называться то монголом, то цыганом, приводить разные даты рождения… Фантазировал, мистифицировал – но ценил свою евразийскую закваску. Даже если потом многое выветрилось, даже если он помнил то, чего не было, – в данном случае миф важнее подлинных анкетных данных. Он действительно хотел быть – или по крайней мере казаться – русским, азиатским, цыганским. Дорожил своей экзотичностью и продавал ее по всем правилам шоу-бизнеса.

В Париже Юл работает в цирке. Исполняет со знаменитым цыганом Алешей Димитриевичем романсы, аккомпанируя на семиструнной, русского строя гитаре.

В 1940-м, после оккупации Франции Гитлером, едет в США. Учится актерской игре у педагога и режиссера Михаила Чехова – племянника писателя. Осваивает английский. Снабжает фамилию вторым n, чтобы ее не читали как «Брайнер». Сокращает имя до звучного Yul.

Бриннер задолго до Шварценеггера сыграл робота-убийцу в «Мире Дикого Запада» (1973). С Бриннера срисовали киношный образ Фантомаса. Он одним из первых получил за роль миллион долларов.

Часть его брутального имиджа – блестящий череп. Поводом показаться с голой макушкой стала роль короля Сиама, бривше го голову в буддийском монастыре. Шаг был вызывающим: Рок Бриннер пишет, что лысина в 1940-х считалась в США если не позорной, то комичной, и Юл одно время даже носил парик. Выходит, и в облике Гоши Куценко – отсвет блистательной головы Юла.

Самурай играл до конца – даже добираясь от гримерки до сцены в инвалидной коляске (травма позвоночника, рак легких, инсульт…). Последней работой Юла стал ролик о вреде курения, показанный по телевидению в день его смерти.

* * *

Откуда он взялся – такой? Не упал же с небес, как Сихотэ-Алинский метеорит.

Родословную не случайно называют древом. Можно понимать историю семьи как развитие побегов и цветков, обусловленное корнями, солнцем, почвой… При изучении древа Брин(н)еров видно: Юл несет на себе родимые пятна, незримые папиллярные узоры близких. Тут – и склонность к авантюризму, и замешенная на нем же деловая жилка: так, в 1965 году, не желая платить высокий налог с гонораров, Бриннер отказался от американского гражданства. И любвеобильность, неприспособленность к семейной жизни. Конечно же – артистичность: Маруся Благовидова пела, Борис Бринер играл на гитаре, мальчика с детства окружали музыканты и актеры.

Сестра привела Юла в парижский ресторан «Эрмитаж», где он познакомился с Димитриевичем. Вторая жена отца – та самая Корнакова – дала ему рекомендательное письмо к Чехову. Судьбу человека определила гроздь случайных, казалось бы, обстоятельств то частного, а то и всемирно-исторического характера: темпераменты отца и бабушки, культурное окружение во Владивостоке, Харбине и Париже, русская революция, японская оккупация Китая, немецкая оккупация Франции…

Национальная идентичность Юла Бриннера – вопрос спорный. Как минимум до отъезда в Европу он говорил и думал по-русски. Потом язык почти утратил, судя по записи 1965 года с Димитриевичем, но интерес к русской культуре сохранил навсегда. Сыграл Тараса Бульбу и Митю Карамазова. В «Путешествии» эмигранта Анатоля Литвака исполнил роль советского майора, подавляющего венгерский «майдан» 1956 года и закусывающего водку граненым стаканом. В фильме Анри Вернея «Змей» сыграл полковника КГБ. Интересно вслушаться сквозь перевод в его речь: Юл совершенно по-русски произносит «Степан» – не «Стэпан» и не «Стьепан». На вопрос о дате рождения честно отвечает: 11 июля…

Фраза Экзюпери «все мы родом из детства» в полной мере относится к Юлу Бриннеру. Контекст, в котором он так или иначе находился до 20 лет, оставался для него крайне важным всю жизнь – и объективно, и субъективно. Без Владивостока рубежа веков и швейцарско-русской дальневосточной семьи он бы просто не смог появиться – таким, каким появился. Так что владивостокцы вправе считать его земляком не только по факту рождения, который сам по себе еще ни о чем не говорит (вспомним, что такие суперзвезды Владивостока, как упомянутые Арсеньев и Лагутенко, – столичные уроженцы).

Юл Бриннер не просто рожден во Владивостоке. Он рожден Владивостоком. Дитя страстей своего рода, бурь своего века, духа своего города.

СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ

АНТОН ДОЛИН. «МИРАЖИ СОВЕТСКОГО»

АННА МАТВЕЕВА
Родилась в Свердловске. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Первые публикации появились в середине 90-х годов. Автор множества книг: «Заблудившийся жоней», «Па-де-труа», «Перевал Дятлова, или Тайна девяти» («лучшая вещь в русской литературе 2001 года», по мнению Дмитрия Быкова), «Небеса», «Голев и Кастро», «Найти Татьяну», «Есть!», «Подожди, я умру — и приду», «Девять девяностых», «Завидное чувство Веры Стениной», «Призраки оперы», «Лолотта», «Горожане», «Спрятанные реки». Лауреат премий Lo Stellato (Италия), журнала «Урал», премии имени Бажова, финалист российских литературных премий — имени Белкина, Юрия Казанова, «Большая книга», «Национальный бестселлер», Бунинской премии и др. Произведения переведены на итальянский, английский, французский, чешский, китайский, финский, польский языки.

Влиятельных критиков принято недолюбливать или даже обвинять во всех смертных грехах: по какому праву они вдруг заняли место главных рефери в вопросах кино или театра, да что они понимают, да исписались вконец, да они же на сто процентов проплаченные, да со вкусом у них грандиозные проблемы и так далее. Ругают их, конечно, не в широких читающих массах – иначе не были бы эти критики влиятельными, – а среди тех, кто, так скажем, тоже кое-что понимает и разбирается *в текущем моменте*. И мог бы, да-да, в свою очередь свысока писать о книжках или там фильмах, но проклятый Д. и ненавистная Ю. обошли его буквально на последнем повороте (иногда лишь в мечтах, но кого это волнует?).

Антон Долин здесь, конечно, приходит в голову первым. Молодежь, может, и смотрит BadComedian'а, но взрослая часть доморощенных киноманов взяла ориентир на мнение главного редактора журнала «Искусство кино» задолго до того, как он этим самым редактором стал.

Харизматичный эрудит, страстно любящий кино (и не перегоревший в этой любви за многие годы!), Долин не только умеет убедительно предполагать, «что хотел сказать режиссер», он к тому же обладает несомненным даром слова и, что очень важно, выдающейся продуктивностью. В этом, кстати, и состоит пресловутый «секрет успеха» состоявшихся критиков – они попросту много и усердно работают. Пишут страшные тысячи знаков в день, даже когда не хочется и устал. Смотрят кино, даже когда не лезет. Терпеливо отвечают на вопросы, сами берут интервью у режиссеров – и корона у них с головы при этом не падает.

Как все более или менее успешные кинокритики, Долин еще и пишет книги. На первый взгляд – сборники, составленные из статей разных лет, но при ближайшем рассмотрении – именно книги. Физиологические очерки современной индустрии с оглядкой на историю отечественного кинематографа. Начатый в «Оттенках русского» разговор продолжился в новой книге «Миражи советского» – и это вот просто подарок для всех, кто интересуется современным российским кино. А особенно для тех, кто, как я, любит творчество Алексея Федорченко – и самого Федорченко (симпатии к человеку и режиссеру совпадают нечасто, но здесь именно такой случай).

Федорченко – один из главных героев книги Долина: даже в оформлении обложки цитируется его фильм «Первые на Луне», а рецензии на «Войну Анны», «Кино эпохи перемен» и другие картины уральского мэтра разбросаны по всей книге. И даже один из недавних фильмов Федорченко, пока не вышедшая на экраны «Последняя "Милая Болгария"», получил несколько преждевременную рецензию (ни

автор, ни режиссер, ни издатели не могли предвидеть коварной пандемии, нарушившей прокатные планы).

В своей книге Долин отдает должное всем заметным режиссерам современности – от Лозницы до Балагова, от Хржановского-отца до Хржановского-сына и так далее до Урсуляка и Бондарчука. Анимация тоже не забыта – тот же самый Хржановский-отец, Константин Бронзит, прочитав интервью с которым, я твердо решила посмотреть его фильмы. Долин хороший интервьюер – терпеливый, вдумчивый, ни капли не поверхностный. Порой чуть-чуть с избытком щеголяет собственной эрудицией, но это как раз можно простить. Пусть щеголяет, тем более не на пустом месте.

Интервью в «Миражах советского» перемежают рецензии и статьи разных лет, не натолканные в один том ради объема, а старательно и концептуально организованные в цельное повествование о современном кино, переживающее прямо-таки сногсшибательное влияние недавнего прошлого.

Названия глав книги говорят за себя сами: «От революции к репрессиям», «Война. Победа», «Через ГУЛАГ в космос» и «Сквозь застой к перестройке». Пролог озаглавлен тоже так, что мало не покажется, – «С новой фальшью» (речь здесь идет о сиквеле «Иронии судьбы» Бекмамбетова, но при желании сказанное воспринимается еще и эпиграфом ко всей книге: это уже зависит от читателя). В эпилоге Долин публикует серию интервью с Владимиром Сорокиным. Ничего случайного – все логически выстроено и доказано, везде ощущается не только большая работа неизвестного редактора, как часто бывает с подобными книгами, а еще и личный труд самого Долина. Ноль сходства с изданиями некоторых других авторов, по-быстрому свалившими в одну рабочую папку все свои рецензии размером в абзац – «пусть девочки разбираются!». Здесь не только девочки трудились, конечно.

Отдельно надо сказать о том, что все долинские рецензии, интервью, зарисовки из этой книги написаны не по шаблону, чем сейчас злоупотребляют многие. Рассказывая о нашумевшем «Дау», Антон делит длинный текст на маленькие главки – вроде бы и связанные друг с другом, но в то же время самостоятельные: кажется, что число их может быть бесконечным, как количество подходов к «Дау» в Париже. Повествуя о блистательном «Процессе» Лозницы, имитирует стиль научного трактата. Анализ «Войны Анны» заключен в сетку школьных предметов – от истории с географией до музыки, чтения и, конечно, военной подготовки. Антону Долину интересно писать о кино, но самое главное – и вот это, поверьте, большая редкость! – ему все еще интересно *смотреть* кино и наблюдать за его переменами.

РЕЖИССУРА ТИШИНЫ

СУСАННА АЛЬПЕРИНА
Писатель и журналист. Родилась и выросла в Одессе. Живет в Москве. Окончила журфак МГУ. Кандидат филологических наук. В свое время принимала участие в работе 20-й комнаты журнала «Юность», где получила награду «Золотое перо». С 2001 года работает в «Российской газете». Рассказы публиковались в сборниках «Трава была зеленее, или Писатели о своем детстве», «Современная русская проза», «Маша минус Вася» и др. Продюсер и соавтор сценария документального фильма «INTO_нация большой Одессы». Программный директор Фестиваля экранизаций «Читка».

– Вы будет спать снизу, а я – сверху.
– Я могу и сверху.
– Но я предпочитаю сверху!
– Ладно, как скажете, но если что – без проблем.

...Режиссер-лауреат, которая только что рухнула на нижнюю полку вагона поезда «Лев Толстой», следующего по маршруту Выборг – Москва, утомившись от церемонии закрытия фестиваля, буквально корчится от смеха, забыв про вожделенный сон. Наш диалог ее очень забавляет. Мы сами не прочь посмеяться вместе с ней, но нас занимает серьезный вопрос. Как избавиться от храпа. Точнее, от человека храпящего. В нашем купе.

Несколько дней назад я ехала в другом купе, тоже с людьми искусства – в направлении фестиваля. И все было бы хорошо, если бы одна из режиссеров не говорила слишком много. Она рассказала нам всю историю фильма, который везла на фестиваль, его предысторию – начиная с рождения: от задумки и идеи. Спустя пару часов после отправления поезда мы знали о съемках картины уже так много, словно сами ездили в экспедиции и сидели на монтаже. Практически уже чувствовали себя ее соавторами. Поскольку каждый фильм – как ребенок, мы уже практически вступили в роль приемных родителей. Вот только очень хотелось спать. Волевым решением я прекратила «интервью», точной снайперской командой уложив все купе. Как вскоре выяснилось, это было большой ошибкой с моей стороны. Когда режиссер не говорила, она... храпела. Лучше было уснуть под ее воспоминания.

Давно я не ездила ночными поездами. С появлением скоростных «Сапсанов», «Ласточек», «Стрижей» жизнь стала проще. Мы забыли о том, что такое храпящий попутчик. За мою забывчивость теперь расплачивалась не я одна.

Режиссер храпела, как боевой конь. Все покашливания, похмыкивания, поцокивания языками были напрасны. Провалиться в сон удалось всего на час. Извертевшись за ночь, уже в 4 часа утра я выползла «на красную дорожку»: в проходе вагона, как положено, был ковер красного цвета. Из соседнего мужского купе появился мой друг – с ним тоже ехал человек храпящий. Остаток пути мы стояли, зевая и насильно встречая рассвет. И, чтобы не уснуть стоя, показывали друг другу красные нити хвостов самолетов, пролетающих над нашим поездом.

Вскоре к нам присоединился молодой талант из мужского купе – студент ВГИКа, соавтор сценария одного из фестивальных фильмов. Сонными заплетающимися языками мы говорили об искусстве и творчестве – проверенный способ не уснуть. В полуизмененном сознании договорились до сценария сюрреалистического фильма в мрачных туманных тонах... В это время из двух купе почти одновременно вышли бодрые и выспавшиеся храпуны.

Обратный путь рисковал быть таким же. Но на этот раз я была готова – и с бдительностью пограничника проверяла всех, кто входил в наше купе поезда «Лев Толстой». На всякий случай мне рассказали, что в этом фирменном (так и хочется написать фильменном – поскольку он был выкуплен кинофестивалем) поезде есть библиотека. При самом плохом стечении обстоятельств я решила ретироваться туда, чтобы провести ночь с книгой. Она хотя бы молчит.

К моменту отправления поезда моя проверка дала следующие результаты. Режиссер-лауреат клятвенно уверяла, что не храпит. Ее внешний вид храпуна в ней тоже не выдавал – молода и прекрасна. С ней смело можно ехать в одном купе. Когда к нам вошла оператор-классик, от сердца отлегло. С ней мы были в экспедициях. Спали в одном номере. Проверку на храп она прошла давно. В легком посапывании была замечена, в храпе – никогда.

Но расслабляться было рано. В купе въехал животик, обтянутый белой майкой, а вслед за ним веселый и кучерявый его обладатель.

Оглядев купе, в котором сидели три интеллигентные с виду женщины, он протянул: «Вот я подозревал самое худшее!» – ни выпить, ни закусить, ни пошуметь, ни матом не поругаться.

Но самого худшего он не подозревал.

– Вы храпите? – строго спросила его я.

От неожиданности отвертеться он не смог. Пришлось признаться: храпел, да еще как.

Нужно было что-то срочно предпринимать, потому что перспектива встречать рассвет и на пути в Москву меня совсем не радовала: впереди был рабочий день. Пока мы препирались насчет верхней и нижней полки, мысли в моей голове вращались с бешеной скоростью – я обдумывала, куда деть белый животик и его обладателя из нашего купе. Решение было одно – нужно с кем-то меняться.

Режиссер-лауреат поняла, что в ближайшее время она не уснет и ей остается только с интересом наблюдать, как мы втроем – оператор-классик, я и обаятельный новый знакомый, оказавшийся режиссером детского кино, – разрабатываем план по обмену.

– В соседнем вагоне едет режиссер Проценко. Я с ней спала – она не храпит. Надо ее привести сюда, – предложила оператор-классик.
– Они хотят обменять меня по выгодному курсу! – радостно заорал на весь вагон режиссер детского кино.

Из соседнего купе ему тут же протянули свежий огурец. То ли чтобы замолчал, то ли чтобы подчеркнуть его ценность. Режиссер захрустел огурцом – и сразу стало понятно, что храпит он так же смачно.

Оператора снарядили в соседний вагон вести переговоры по обмену с Проценко. Тем временем режиссер детского кино прорабатывал запасной вариант.

– Если я буду храпеть, вы меня дергайте за штанину, не стесняйтесь – я перевернусь и перестану, – сказал он.

Я живо представила себе, как буду слезать с верхней полки и дергать его за штанину при каждом звуке, и решила, что лучше уж снова встречать рассвет в 4 утра.

Быстро перескочив с темы храпа, попутчик уже рассказывал о бородатых викингах, о которых снимает кино. Мне все время хотелось спросить: «А они храпели?» Но из того же предательского чувства деликатности, что заставило меня задуматься о повторной встрече рассвета в 4 утра, я не решалась. Перешли к теме продюсерской работы. Он рассказал, каких трудов ему стоило однажды стать сопродюсером одной из своих картин, а потом, не стремясь к особой оригинальности, исполнил классическую мужскую арию «О нужен, нужен мне продюсер». Но, надо признать, в его трактовке это выглядело очень милым. Разговаривать с ним было так интересно, что в какой-то момент я даже огорчилась:

– Вы мне так понравились. Такой творческий человек! Если бы с вами еще не надо было спать.

Тем временем оператор, отправленная на переговоры об обменной операции в соседний вагон, как-то подозрительно пропала. Поезд тронулся, проводники стали отмечать, все ли на своих местах. Мы их начали просить, чтобы в следующем вагоне они нашли Проценко, а рядом с ней нашего оператора и напомнили ей, зачем она туда пришла.

– Небось уже качество новейшей киноаппаратуры обсуждают, – предположила я, вспомнив фанатизм нашего оператора, проявленный в этом вопросе во время экспедиций.
– Меня будут менять по невыгодному курсу, – вздохнул тем временем режиссер детского кино. Огурец ему больше никто не протянул.

Помолчали. Подумали. Каждый о своем. Я – о храпе. Представить еще одну такую ночь было невыносимо.

– Надо идти за проводниками, узнать, что там происходит, – сказала я.

– Придется, – с грустью глядя на расстеленную белоснежную постель, сказал режиссер детского кино, понимая, что вопрос стоит ребром.

Либо он мне не даст спать, либо я – ему. Природное уважение к продюсерам и вера в их могущество взяли верх.

– Идите узнайте, что там, – сказала я.

– Давайте пойдем вместе, – робко предложил он.

Режиссер-лауреат решила, что ей удастся отключиться и поспать хоть несколько минут, и тихо обрадовалась.

Мы отправились в соседний вагон.

Переговоры по обмену даже не начинались. В соседнем вагоне купе были разделены на мужские и женские, и все уже выгодно утрамбовались. Оператор с режиссером Проценко, как я и предполагала, обсуждали свойства новейших камер. По иронии судьбы в купе с Проценко ехала наша предыдущая соседка. Она, никого не слушая, продолжала рассказывать о своем фильме. Возможности предупредить Проценко о том, что ее ждет ночью и нужно срочно меняться к нам, не было. Тем более что дамы не желали пускать к себе в купе одинокого незнакомого мужчину.

– Мы спим в трусах, – аргументировали они.

Что-то возразить на это было трудно, но режиссер детского кино все-таки попытался.

– Я зайду позже, трусов не увижу, – рискнул возразить он.

Но девушки были непреклонны. Режиссер детского кино понял, что обмен в этот творческий коллектив не состоится, и мы сконцентрировались на мужском купе. В нем ехал друг нашего храпуна – мэтр документального кино, член жюри, с которым они жили в одной комнате на фестивале. Помня, что лучший подход к родителям через их детей, я обратилась к мэтру издалека:

– Вот мы с вами не очень хорошо знакомы. А сына вашего, тоже известного режиссера, я знаю гораздо лучше, – начала я.

– Это большой пробел в вашем образовании! – гневно отрезал мэтр документального кино и посмотрел на меня так, что я поняла без слов: он храпит. И еще как.

– Вы же храпите? – перешла сразу к делу я, так и не представившись члену жюри.

– Ну да! – ответил за него режиссер детского кино. Они громко и раскатисто рассмеялись. «Храпят так же бодро и тоже хором», – подумала я.

– Но мы жили в одном номере во время фестиваля. Мы друг другу не мешали. Мы уже схрапелись, – начали наперебой рассказывать мне они.

От сердца отлегло: стало понятно, что они должны ехать вместе. Но как?

Пришлось изучить их соседей по мужскому купе. Два еще неиспорченных реальностью отзывчивых интеллигента (тип кинематографиста, который я про себя называла «первый раз на фестивале, ой, спасибо, что позвали») ехали рядом. Но вокруг стоял такой шум, что они не могли понять, что происходит. Объяснить, как именно и почему им надо поменяться в другой вагон, собрались уже проводники со списком пассажиров, наше основное мужское и женское купе, ну и, на всякий случай, все остальные обитатели вагона. Все люди искусства говорили одновременно – как они умеют. Интеллигенты так перепугались, что намертво вцепились в нижнюю полку. Их не то что переместить в другое купе, сдвинуть с места было нельзя.

– Так, все замолчали, я им сейчас все объясню! – рявкнула я.

Воцарилась тишина, как на съемочной площадке.

– Сейчас будет говорить продюсер! – раздался шепот.

Эту команду понимали все собравшиеся кинематографисты.

Интеллигенты насторожились, как кролики, внезапно выбежавшие из высокой травы на ровное место, и приготовились слушать команду. Я раскрыла рот, чтобы конкретно поставить техническое задание, но вдруг услышала в гробовой тишине участившееся от волнения (тема сна очень болезненна для мужчин) дыхание режиссера детского кино и… начала смеяться так, что не могла остановиться. По моему лицу текли слезы. Краем глаза увидела, как режиссер Проценко потянулась к салфеткам и бутылке воды, а проводники – к аптечке, где хранилось успокоительное. Интеллигенты испугались еще больше и, кажется, взялись за руки, чтоб не разлучаться уже никогда. Они, наверное, подумали, что я перепила на церемонии закрытия фестиваля или просто истеричка.

«С продюсерами от напряжения бывает. Бедная, бедная, работа – большой стресс», – прочла я в их глазах. При этом невольно отметила, что они так изумительно затаили дыхание, что спать с такими одно удовольствие: они не то что храпеть – дышать боятся.

Вагон творцов уже снова галдел. Потому что, в отличие от меня, многие действительно выпили на церемонии закрытия. Нужно было успокаиваться самой, снова угомонить остальных и приступать к очередному раунду переговоров. Я вытерла слезы,

успокоилась, выпила воды и для начала выгнала из купе режиссера детского кино, чтобы не смущал.

Потом серьезно и внятно сказала, обращаясь к интеллигентам, а также ко всей остальной публике, что судьбы трех женщин – в их руках. Равнялась в своем вагонном выступлении на маститых адвокатов. И это сработало.

– Я, в принципе, готов, – поправил очки один из интеллигентов.

В какой-то момент мне даже показалось, что его звали Шурик и он сейчас скажет «пожалуйста, помедленнее – я записываю». Но его звали Филипп.

– Что нужно делать? – спросил он.
– Просто поменяться местами, – быстро ответила я.
– Где я буду спать?
– На нижней полке.
– А под ней есть место для багажа?
– Да сколько угодно!
– А постельное белье где?
– Уже вас ждет.
– Кто соседки?
– Три очаровательные и тихие дамы. Не храпящие.
– В чем подвох? – то ли он это подумал, то ли спросил – я даже не успела осознать, потому что в дверь купе просунулась кучерявая голова режиссера детского кино.
– Я, конечно, могу уйти на всю ночь в вагон-ресторан... – Оскорбленным чувствам его не было предела.

Я вытолкнула его в проход и сделала знак умолкнуть. Надо же, как не вовремя! Интеллигент почти у меня на крючке.

– Хорошо, пойдемте посмотрим! – решился Филипп.

Мы отправились в наш вагон. Он услышал тишину, увидел, как спит, раскинувшись во сне, нимфа – режиссер-лауреат. В купе фирменного поезда «Лев Толстой» пахло свежим бельем. На столе лежали дипломы и розы, стояла бутылка воды. Чистое полотенце и одноразовые тапочки были заботливо разложены над нижней полкой, где предстояло ему спать. Под ней было много места для багажа. Надписи на русском и немецком языках с инструкциями, как пользоваться вагоном, подтверждали серьезность всех наших намерений.

Он кивнул.

Сказал, что придет позже.

Я предложила ему ключ-карточку – в поезде, который ходит в Финляндию, дают такие, чтобы можно было войти в купе, если оно закрыто. Он ее взял.

– Я иногда посапываю. Дергайте меня за штанину, если что, – предупредила с соседней верхней полки оператор-классик.
– Я тоже могу посопеть – была простужена недавно, – ответила ей я.

Таким образом мы пожелали друг другу спокойной ночи.

Проснулась я в половине шестого утра. За окном была красота. В купе – волшебная тишина. Я почувствовала себя выспавшейся и вспомнила, какая же это радость – ехать ночью в поезде. А потом вот так проснуться – и смотреть на российский пейзаж: березки, домики, озера...

И тут подозрение нарушило мою идиллию.

Я перегнулась с верхней полки и посмотрела вниз.

Филипп ночью не пришел...

КОНФЕТА ПО-КИЕВСКИ

ВАЛЕРИЯ КРУТОВА
Родилась в 1988 году. Получила юридическое образование, работает копирайтером в рекламном агентстве. Участник 18-го и 19-го Форумов молодых писателей, организованных Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ.

Во сне я узнала, что тебя застрелили. Могу выбирать – верить или нет, потому что узнать точно у какой-нибудь бывшей одноклассницы или старого общего друга возможности у меня нет. И даже не в том дело, что я не хочу, а в том, что у нас с тобой никогда не было общих друзей. А бывшие одноклассницы закончились точнехонько под звуки последнего звонка.

О, я помню его! Слезоточащий, украшенный флажками и натянутыми на массивных грудях старшеклассниц белыми блузками, последний звонок. Тот самый звоночек, который должен был намекнуть, что как бы дальше все будет только сложнее, сидите, дети, в школе и не ходите в Африку гулять. Но кто из нас мог распознать опасность в натянутом до предела школьном звонке, который мы все слышали не менее тысячи раз? В знакомом, бьющем по ушам то радостью, то досадой школьном звонке.

Мы старательно плакали, танцевали, поправляли банты и застегивали то и дело выскакивающие пуговицы на блузках. А после торжественной части все отправились пить пиво. Да-да, потому что хватит этого уроко-террора, мы уже слишком взрослые и достаточно дерзкие, чтобы заявиться домой с легким перегаром. Я выпила кружку пива, запутывая в зубах тонкие волоски копченого сыра, и решила: еду к тебе! Я взрослая, я школу окончила и даже выпила пива – разве это не повод окончательно и бесповоротно распрощаться с детством? Я приехала в твой магазин и, минуя продавцов, проводивших меня недоумевающим взглядом, прошагала в кабинет директора. В кабинет директора магазина открыток.

Ты был не похож на продавца добрых слов. Ты мог бы продавать оружие, ну или хотя бы управлять продуктовым ларьком в спальном районе, и один твой вид отпугивал бы от этой ниши остальных. Но ты продавал картонки с выдолбленными на них мишками и розочками, вычурными и неискренними словами, а еще игрушками и шариками. Мои надежды казаться взрослой и серьезной тогда разбились о розовый плюшевый уголок чьего-то счастья. Ведь дарить подарки и подписывать пусть и пошлые, но всегда своевременные открытки – счастье?

Ты удивленно обернулся, но быстро привык к моему появлению. Ты что тут делаешь? Я к тебе пришла! Краснея и пятясь назад, подальше от своего спонтанного решения, я мямлила что-то про последний звонок, на который «я же тебя звала», про пиво с одноклассниками. Бывшими. Бывшими, слава богу! Мне больше не придется быть частью этой странной разношерстной команды – какого-то просто месива из характеров, лиц, голосов и поступков. Мне не нужно будет терпеть, списывать, записочки эти писать, представляешь! Представляешь! А ты слушал и улыбался. Потом встал, и последним моим звонком

стал наш с тобой первый поцелуй. Обжигающий, щетинистый, гулкий от моих неловких ударов зубами, слишком неловких, поцелуй.

А теперь мне снится, что тебя застрелили. Я видела во сне твое искаженное, но мутное, словно под инстаграмовскими фильтрами, лицо. Неузнаваемое, размытое, уродливое. Жалкое настолько, что я осела, икнула и разревелась. И проснулась в слезах, готовая бежать из дома, из города, из страны, туда, где мы когда-то целовались. К двери, к которой ты меня прижимал и за которой я явственно ощущала неприязненные переглядывания твоих миловидных продавщиц и стеклянные безразличные глаза плюшевых животных.

Как животные! В моей голове мелькало: куда ты лезешь, боже, что я делаю, нет, не здесь же, подожди, остановись, или нет. Или нет. Нет – ты услышал мое «нет» и остановился. Усадил на кожаный диван – почему в директорских кабинетах всегда стоит кожаный, местами потертый диван? Усадил и распахнул дверь, чтобы лишить своих «девочек» возможности навертеть языками чего попало. Кабинет сразу наполнился шумом: хлопками, звоном колокольчика над дверью, писком кассового аппарата. Тогда еще не было миниатюрных терминалов и пластиковых карт. Были шуршащие купюры, собравшие на себе миллионы различных отпечатков пальцев, да монеты, весело бренчащие в своем личном кассовом отсеке.

Невероятно, даже у монет была отдельная комната, а у меня нет!

Я делила квадратные метры с младшим братом и собакой, которая почему-то всегда ночевала с нами. Мама с папой спали в зале – в комнате, которую испокон советских веков было принято так называть. Там у нас стоял чехословацкий гарнитур и телевизор – «Супра» или как-то так. Я вдруг подумала, что мне срочно надо туда, к телевизору, к маме в длинном цветастом платье на молнии, к отцу, беспрестанно поправляющему очки, и брату. Обычному младшему брату без особых примет.

Я позорно сбежала. Как в кино про погоню, которое крутил на видеомагнитофоне брат. Там главная героиня обязательно стройная и высокая, в обтягивающих лосинах, в топе, не прикрывающем пупка, вся вымазанная отчаянием, но сохранившая волнующий вид, бежала от погони. Иногда отстреливалась и демонстрировала чудеса безупречного ориентирования на местности. Я же бежала как школьница, даром что бывшая, путаясь в собственных ногах, размазывая стыд по краснющим щекам и не понимая, где я вообще нахожусь и как здесь оказалась.

Как мило, мило! Чего мне было стыдиться, чего бояться? Своего желания стать на одну часть тела более исследованной?

– Убери свою консервную банку отсюда! – сказала в день нашего с тобой знакомства.

И не побоялась же гавкнуть на мускулистую мечту всех старшеклассниц. Ведь нам не нужны были одноклассники тогда. Это сейчас они сплошь успешные мужчины, и некоторые даже на выданье, так сказать. А тогда – сопля соплей погоняет. А ты – глаза темные, так хотелось их зажечь, осветить. Освятить! Хотелось тебя трогать и показывать всем вокруг, кроме, разумеется, родителей и соседей. И от коллег родителей, и даже от младшего брата надо было как-то тебя прятать. Я просила тебя встретить меня из школы, но ты всегда был занят и приезжал только тогда, когда тебе самому было удобно. Я выходила во двор, оглядываясь, и шипела: куда ты заехал, придурок, мама увидит, папа убьет. Убери свою эту банку отсюда. Банкой я называла твою бээмвэ. Серебристый металлик – ну встреть меня хоть раз из школы! Ты представить себе не можешь, как вознесутся мои девчачьи рейтинги!

Вот так ты и приезжал, мы сидели на лавке в соседнем дворе и ели мороженое. Сейчас с высоты своих тридцати я понять не могу, зачем ты таскался к школьнице?

Я представляла тебя Леоном, а себя – той жидковолосой девчонкой. Благо мои волосы всегда находились в таком состоянии, что и представлять труда не составляло. И ты такой – в черных очках, в черной футболке, в голубых джинсах – камера, мотор-р-р-р, и вот мы уже получаем «Оскар» за лучшие мужскую и женскую роли.

А потом ты встаешь на одно колено, отчаянно или от страха хрустнув вторым, и делаешь мне предложение. Софиты, вспышки камер, женщины «ах-и-ладони-ко-рту», а я в платье, которое стоит, наверное, как вся родительская квартира, и даю тебе свое согласие легким кивком головы. Это потом, когда мы останемся наедине, я брошусь к тебе, запрыгну на каменную грудь и крепко обхвачу тебя бедрами. За которые ты, кстати, и возьмешься, усадишь меня на стол и… «Обед готов!» Это мама из кухни звала меня получить дочерний оскар в виде тарелки борща. Всегда на подобных моментах.

Мечтательница! Уникальные кино в моей голове. Начало, кульминация и конец. Счастливый! Я не теряла интереса к каждой из историй до момента, пока всласть не отсмакую каждый кадр. Каждую мелочь, каждый взгляд, каждое слово. Но наше обще-

ние, а как это еще назвать, не походило ни на один из моих сценариев. Это все потому, что ты никак не соглашался забрать меня из школы?

В Киев еду.

Зачем?

Дела, бизнес, зачем тебе подробности?

Говорят, что киевский торт – вкусный. Правда?

Тебе привезти торт?

Нет, я просто спросила.

Правда.

Классно.

И ногами болтала, думала, привезет теперь торт или не привезет. Чувствовала плечом твое нечаянное плечо рядом. Мы становились чуть вровень только, когда сидели. Да и нечаянно касались друг друга тоже только в эти моменты. Ты каждый раз вытаскивал конфету грильяж и совал мне в карман.

Конфета для конфеты.

Чего это я конфета. У меня имя есть!

Я вскидывалась, а самой-то нравилось. Нравилось! Я находила в этом глубокий смысл – начинка вкусная, обертка красивая. Вся такая конфета-конфета. А ты словно на диете был. Так и не развернул, только попробовал чуть-чуть на последнем звонке. И больше ни-ни.

Твой Киев случился уже после нашего поцелуя. Ты, как обычно, приехал под вечер, посидел со мной на лавке, исшорканной вереницей задниц и подошв, оставил конфету в кармане и уехал, пообещав привезти торт.

Конфета, конфета – россыпь конфет в твоей жизни. Меняющиеся каждые три месяца продавщицы, розовые драже в уютных, исполосованных мятными лентами коробочках, в машине леденцы для свежего дыхания. От тебя всегда пахло конфетами. А я мечтала, чтобы пахло мной. Но конфет было слишком много, и я затерялась в этом кондитерском изобилии. Да и пахла я… блинами маминими, а не «Гуччи Раш». Никакой романтики.

После Киева мы и не виделись. Только однажды я нашла на той, смею назвать ее нашей, лавочке обмокший под дождем грильяж. Киевский привет от лучшего актера моих старших классов. Нашла и оставила лежать дальше. Ну не есть же ее, в самом деле! Да и не хранить. В моей трогательной подростковой шкатулке, которую я прятала под матрасом, и так скопилось штук семьдесят оберток от грильяжа. Семьдесят один – некрасивая цифра. Это даже никакая не железно-чугунно-золотая свадьба. Это просто семьдесят один, поэтому она и осталась лежать на лавке, пока чья-то рука брезгливо не смахнула ее в осеннюю грязь.

И сейчас я сижу на кровати, вся мокрая от слез, не проснувшаяся еще и не забывшая этот ужасный сон. Не разметавшая еще по не слишком крепкому сознанию некрасивый и правдоподобный кадр. Не включившаяся пока в свою спокойную жизнь бездетной разведенки. Вот! Если бы хоть раз встретил меня после школы, я, может, заполучила бы в мужья одного из взревновавших и присмотревшихся ко мне одноклассников. Или подружилась бы с какой-нибудь крутой и популярной одноклассницей – она, конечно же, ради «вдруг у него друг есть», а я ради тусовок и вечеринок, где бы мои «нет» звучали не так убедительно, а актеры играли бы не слишком порядочные роли. Мало ли бы как сложилось.

Говорят, что такие сны к долгой жизни – так что отбой. Я проснулась. И это… ешь свои конфеты сам.

В НАЧАЛЕ БЫЛ БАУЭР...

ФЕДОР ШЕРЕМЕТ
Родился в 2002 году в Екатеринбурге. Окончил гимназию №9. Работал ассистентом режиссера. Публиковался в «Российской газете» и других СМИ. Начинающий киновед, сценарист и режиссер.

Что вы знаете о русском дореволюционном кино? Не волнуйтесь, «а разве оно было?» — тоже ответ. Как-то в нашем сознании укрепилось, что все дороги ведут к Эйзенштейну с Пудовкиным, а до этого — так, глупости. Вплоть до начала восьмидесятых годов советская власть всячески убеждала в этом массы: «Золотой теленок» Швейцера, «Гори, гори, моя звезда» Митты, даже умеренно-заумный «Ленин в Польше» Юткевича. И Михалков в восторженной «Рабе любви» однозначен — дореволюционное кино есть однообразный и бестолковый фарс. Уж большевики-то растопчут этот срам!*

Не растоптали. Наоборот, отобрали, тщательно почистили и спрятали. Как думаете, где Цивьян раскопал все эти ленты для реставрации?** В самом что ни на есть Госфильмофонде. Получилась новая Александрийская библиотека — для истории отбирали лучшее. И правильно делали! Весь тот шлак, что пародировали советские режиссеры, действительно существовал — и от него грех было не избавиться: ничего, кроме слез, эти ленты не вызывали***.

Но что же хорошего в салонных мелодрамах и скабрезных комедиях, тем более коротких и немых? Достойны ли они того, чтобы вспоминать их? Давайте разберемся. Дореволюционный кинематограф — настоящая сокровищница талантов. За десять — всего десять! — лет у нас накопилось как минимум два десятка подлинных шедевров от мастеров миро-

* Само собой, подобных призывов в ленте не звучало. Я говорю о впечатлении, которое оставляют михалковские герои – Вознесенская, Канин, сценарист Вениамин Константинович.

** Юрий Цивьян – известный советский, латвийский и американский киновед. В начале восьмидесятых годов возглавил масштабную кампанию по реставрации дореволюционных фильмов, в том числе картин Е. Бауэра, П. Чардынина, Я. Протазанова и прочих.

*** В частности, ленты производства Александра Дранкова. Классический пример – «Антошу корсет погубил» Эдварда Пухальского. Остальные фильмы этой чрезвычайно популярной серии до нас не дошли – к сожалению или к счастью.

вого уровня. Я взял на себя смелость рассказать лишь об одном из этих гениев — человеке столь же одаренном, сколь и таинственном.

Серебряный век снова в моде. Молодежь читает Брюсова и Ахматову, по стране триумфально идут выставки мирискусников — но никто не говорит о кино. И правда — отечественный кинематограф родился аж в 1908 году*, в самый разгар русского декаданса. Что путного мог сказать младенец? И все же новое искусство шло семимильными шагами. Началось с «экранизаций» литературного наследия (читай: продвинутые картинки к волшебным фонарям), перешло в исторические постановки с задиранием рук... Но уже в 1913 году миру явился один из чудеснейших талантов раннего кино — Евгений Францевич Бауэр.

В прошлом художник театров и «феерий», Бауэр успел создать себе имя в Москве — его знали и ценили как эстета и любителя мельчайших деталей. Был он, что называется, нарасхват — оформлял самые крупные столичные постановки, был вхож в артистические круги. Это все, что известно о его ранней жизни, — ни дневников, ни мемуаров не осталось, есть лишь две нечеткие фотографии. В сомнительное еще кинемо почтенный художник попал благодаря... Александру Осиповичу Дранкову — кондовому авантюристу и заклятому врагу Александра Ханжонкова. Дранков занимался созданием низкобюджетных версий картин конкурента и выпускал их незадолго до премьеры последних — такая вот «собака на сене». Жестокая борьба за прибыли шла уже пять лет, а решающая схватка первых русских продюсеров пришлась на 1913 год — год юбилея известной династии. И Дранков, и Ханжонков мобилизовали

* Первый фильм в истории отечественного кино – «Понизовая вольница» Владимира Ромашкова. Фильм сохранился.

лучшие свои силы и одновременно выпустили масштабные «Трехсотлетие царствования дома Романовых» и «Воцарение дома Романовых». Тут и появляется Бауэр. Дранков пригласил модного художника на свою картину в качестве декоратора-оформителя — и, положа руку на сердце, работа Евгения Францевича — лучшее, что есть в картине. Экспрессивные, полные изящества интерьеры придавали шарм даже самым бездарным актерам ленты*.

Само собой, Бауэра быстро переманили — сначала московский филиал «Братьев Патэ», а затем сам Александр Алексеевич Ханжонков. Этот удивительный человек совмещал купеческую жажду наживы с тонким художественным чутьем — продюсер и сам был не лишен творческих порывов и часто выступал вторым режиссером в фильмах своей студии (к примеру, он поставил некоторые батальные сцены в «Обороне Севастополя» Василия Гончарова). Потому и приглянулся всемогущему Ханжонкову немолодой уже Евгений Францевич — мало того, что его картины пользовались оглушительным успехом, так еще и культурная ценность их была неоспорима.

Вообще, специализацией Бауэра была мелодрама — того самого типа, где невинно-наивную служанку обольщал и затем бросал ветреный барич. Да и названия под стать — «Сумерки женской души», «Немые свидетели», «Человеческие бездны». Но талант автора выходил за рамки всех приходящих на ум клише.

Картины Бауэра — это, конечно, настоящий декаданс, и речь тут не о томном лежании с мундштуком. Как вам такой сюжет? Дворянин лишается горячо любимой жены и на память отрезает ее косу. Одержимый погибшей, вдовец случайно заходит в оперу и тут же влюбляется

* Речь, конечно, не о Михаиле Чехове.

в молодую артистку, как две капли воды похожую на его супругу. Артистка отвечает взаимностью, но героя начинает раздражает ее развязность — своим поведением любовница оскорбляет (!) память усопшей. Немного помучившись, вдовец убивает ее, задушив (!) той самой косой. Рядовая в послужном списке картина «Грезы». И это только цветочки — все фильмы мастера наполнены чудовищными убийствами, пугающими символами и полупомешанными персонажами.

Кстати, о символах — главным козырем Бауэра-кинорежиссера был Бауэр-художник. Евгений Францевич стал первым в России (если не во всем мире) автором, использовавшим кадр как полноценное художественное пространство. Проще говоря, теперь не только актеры, но и костюмы, реквизит, декорации, камера — все работало на воплощение режиссерского замысла. Одна из вершин такого подхода — открывающий кадр «Немых свидетелей», где на пяти разных планах показаны герои истории, их характеры и причины конфликта. Бауэр не стремился переиначить избитую структуру — все-таки он был человеком своего времени, — но он наполнял ее глубоким смыслом и облекал в блистательную форму. Никто, даже Яков Протазанов, другой великий гений русского кино, так и не смог добиться настолько же выверенной, живой композиции отдельных кадров и целых фильмов.

Разумеется, все свое эстетство Бауэр перенес и в кино: непривычно, даже неприлично крупный план Каралли в «После смерти», изящная женская ножка, перешагивающая тело мертвого любовника в «Дитяти большого города», высвеченная молнией маска Медузы в «Счастье вечной ночи» — Бауэр говорил со зрителем на языке не чувств, но эмоций. Он был очарован красотой жизни, движения — и иногда заходил слишком далеко. В своем опус магнум «Умирающий лебедь» режиссер буквально вырезал фон, на котором танцевала балерина, оставив лишь пластику человече-

ского тела — этот прием противоречил даже его собственным идеалам (о них позже). Было это божественным озарением или очередным фокусом безумца — мы никогда этого не узнаем.

В упрек Бауэру многие критики ставили его работу с актерами — якобы образы у них получались плоскими и сухими. Частично это правда: Евгения Францевича артист никогда не интересовал больше фона, на котором тот стоял. Но то, что режиссер совсем не работал с исполнителями, — неправда. Во-первых, учтем, что политически ангажированная критика имеет мало отношения к профессиональному анализу фильмов (в 1928 году одна уважаемая газета назвала работу великого Мозжухина в «Отце Сергии» «Переживаньицем»!), и воспринимать ее совсем уж серьезно не стоит. Во-вторых, у Бауэра просто было свое понимание актерской задачи. В изобразительном искусстве человеческая фигура является лишь частью ансамбля картины — так и здесь артист действует наравне со своим окружением. Эту мысль режиссер наверняка подхватил в бытность свою театральным художником — и в ней опередил даже европейских коллег! Скажем, знаменитая «лестница Йесснера»* была частично реализована Бауэром еще в 1915 году: она символизировала социальное неравенство между влюбленными и прочерчивала трагический путь поднявшейся на второй этаж героини — спустится она только на носилках.

Возвращаясь к работе с актерами — сейчас описанный метод может показаться нелепым и устаревшим. Ну еще бы, для нас, воспитанных на звуковом кино, актер не во главе кадра — нелепость! Мы же не об артхаусе говорим. Зрители начала века тоже требовали артистов (а особенно артисток). Почему же фильмы Бауэра пользовались бешеным успехом? Да просто его техника работала. Режиссера не интересовали актерские потуги исполнителей, ему нужна была их энергетика — а ее можно было высвободить, только поместив человека в правильное окружение. И Евгений Францевич не просто показывал своих актеров в выгодном свете, он делал из них настоящих звезд экрана! Многие кумиры публики были обязаны своим успехом Бауэру — Вера Каралли, Иван Перестиани, Витольд Полонский... и Вера Холодная! Эта «королева экрана», даже похороны которой стали хитом российского проката, на самом деле является его детищем. Обладавшая огромной харизмой, эта совершенно бездарная актриса (цитируя другого знаменитого режиссера, основателя ВГИКа Владимира Гардина: «Холодная тогда умела лишь поворачивать свою красивую голову и вскидывать глаза налево и направо — вверх. Правда, выходило это у нее замечательно, но больше красавица Вера дать ничего не могла») так бы и осталась в пыли веков, если бы Бауэр не нашел чудесную формулу успеха. Каждый фильм с ней он делал точной копией предыдущего — менялись лишь декорации, костюмы и имена. Но с каким вкусом подобраны костюмы! Как тщательно продуманы декорации! Все, что оставалось делать актрисе, — смирно стоять и смотреть, куда скажут. «Публика ломала скамейки»!

Бауэр творил лишь четыре года — с 1913-го по 1917-й. За это время он снял более восьмидесяти художественных фильмов и основал целое

* Леопольд Йесснер – знаменитый немецкий театральный и кинорежиссер. Его «лестница» – эффектный прием, делящий пространство сцены/кадра на несколько «платформ» и придающий особое метафорическое звучание эпизоду. Должным образом он реализовал свой замысел лишь в 1919 году в «Вильгельме Телле» Шиллера. Опыт Бауэра я, конечно, драматизирую: схожего эффекта он добился неосознанно и в будущем большого интереса к лестницам не проявлял.

направление в отечественном кинематографе — к сожалению, последователей у него так и не появилось. История того кино, что строили Гончаров, Чардынин, Старевич и сам Евгений Францевич, пресеклась с Великой Октябрьской революцией. Бауэр погиб за несколько месяцев до нее — нелепо, как в какой-нибудь мелодраме: сломал ногу, лег в больницу, там заболел пневмонией. 22 июня 1917 года его не стало. Может, и к счастью — большевикам такой режиссер был не нужен.

Говорить о бауэровском гении можно долго. Но лучшая похвала ему — работы других авторов. Разве история «Грез» не напомнила вам Хичкока? Тоска по возлюбленной, попытка создать ее точную копию, убийство в припадке безумия... Одержимость героя антониониевского «Фотоувеличения» очень напоминает корпящего над снимками Андрея Багрова («После смерти»). А эпизод из «Немых свидетелей» — это же начало «Фаворитов луны» Иоселиани! Фильмы Бауэра обладают удивительной художественной силой, идущей буквально сквозь века, — так мы замираем пред полотнами Рафаэля и Боттичелли.

А самая удивительная история связана с «Революционером». Картина о старом каторжанине и его отношениях с сыном — первое искреннее политическое высказывание режиссера, но сейчас нас интересует другое. Один коротенький, почти декоративный эпизод — герои медленно идут по мосту с видом на Кремль, спокойно беседуют... Двадцать один год спустя эту сцену повторит известный художник Александр Герасимов. С немного другими персонажами.

Пугает, не правда ли?

ПОЭЗИЯ

ЮЛИАНА УЛЬЯНОВА
Родилась в 1985 году в Москве, окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и магистратуру Государственного университета управления (мировая экономика). Поэт, журналист, литературный критик, редактор и составитель поэтических антологий. Автор книги стихов «Девочка с демонами» (2010).

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ...

Береженого Бог бережет.
Но бывает, что не бережет:
передумает – режет и жжет,
или бьет в темноте кулаком.
Вынуждает ходить босиком
и отчаянно денег просить.
А соседа, что с детства знаком,
заставляет идти доносить...

Замороженный дом по утрам
покидает тепло батарей.
Оставляет насиженный храм
отлучаемый протоиерей,
призывает крылатых послов,
но они никого не спасут.
Признается один богослов,
что и вера сегодня – абсурд.

Это Бог сочиняет зачин,
может, даже готовит чуму.
Береженый не знает, зачем,
а больной не поймет, почему.
И восходят на небо с трудом
(это мягко еще говоря)
Возлюбившие этот дурдом –
вопреки, *вперекор*, *несмотря*.

И СКУЧНО, И ГРУСТНО

И скучно, и грустно, и некому руку подать –
то наци, то фрики, то готы.
И страшно, и пусто, и некому почку продать
в голодные годы.
Любить, но кого же? От прошлого нет и следа.
И всякое чувство ничтожно.
И радости больше гораздо приносит еда,
хоть есть уже тошно.
За нежное трогать красивых друзей и подруг
противно и жутко...
Смешно, а посмотришь с холодным вниманьем вокруг –
так это не шутка.

ВОЗДУШНЫЙ ШАР
(СТРАШНАЯ БАЛЛАДА)

В болезни тяжелой и душной,
я вижу во тьме городской,
как шарик взлетает воздушный,
отпущенный детской рукой,

за ним, пародийным уродом,
из темного ужаса родом,
пузырь выплывает свиной –
наполненный не кислородом,
а комплексной нашей виной.

Взлетает над спальным кварталом,
не гелием полон внутри,
а речью – горячим металлом –
с ночными звонками в ноль три.

Летит над березовой Русью,
где грустно поют соловьи,
и весь раздувается грустью,
неверием в силы свои.

С вопросом «Зачем мне родиться?»
минует Кидекшу и Плёс,
и плещется в нем не водица –
а озерце крови и слез.

Летит траекторией длинной,
смородиной над и малиной,
над всей огородной долиной,
подсвеченный солнца лучом,
летит вдоль дороги старинной,
над русской землею былинной –
туда, где веселые дети
играют с футбольным мячом.

И вниз опускается плавно
в финале большого пути,
и в рамках коварного плана
нельзя уже мимо пройти –
в игру интересную влиться
зовет на зеленом лугу,
меняются детские лица,
а как – я понять не могу...

Додумать бы им по сюжету
свиные глаза, пятаки,
убийцу и новую жертву,
топор или руки-крюки...

САДОВЫЙ ГНОМ

Он был игрушечный, громоздкий, как рояль,
резиновый и безбородый.
Он не был ни стозевен, ни лаяй,
не выделялся краской и породой.
И братцы сводные, чье имя – баловство,
миниатюрные фарфоровые гномы,
определяли странное родство
как шок и отклонение от нормы.

Виною были разные отцы.
О, made in Россия and Европа...
Убийственные зрели огурцы,
и в зарослях зловещего укропа
стоял он – в подмосковной тишине,
в камзоле, от рассвета до заката –
он, купленный на память обо мне,
с бесплатною доставкой из-за МКАДа.

Я сам, такой же лишний и большой,
в камзольчике и в шапочке с тесьмою,
стоял бы и охотно, и с душой,
между тобой – и тьмою.
Но между мной – и близкими людьми
теперь уже лежит такая бездна,
что даже гномом, пес меня возьми,
на даче появляться бесполезно.

Там родственников кучные ряды
ежевечерне сходятся в беседке,
там облачные тучные гряды
оперились, как белые наседки.
Высоковольтных линий передач
натянуты опасные качели,
и призраки под кровлей этих дач
живут себе, еще не улетели.

Вся эта космогония проста,
на кухне уже точатся ножи и
отрезаны знакомые места –
и мы теперь чужие.

К тебе приплыл жених с материка,
остался, обустроился, обжился.
А я стою – печаль моя крепка.
И краски слой сурово обнажился.

РИСУЯ МАЛЕНЬКОГО КРЕСТОНОСЦА

Ручка, ножка, огуречик.
Плащик, крестик, щитик, мечик.
Здравствуй, гордый человек,
ты ведешь неравный бой.

Ты измучен, изувечен.
Но ведь скоро будешь вечен.
Жди, когда наступит вечер,
а пока что Бог с тобой.

Андрей Никоноров пишет стихи, прозу и песни. Это умный, хитрый, скрытный, талантливый, дружелюбный, стремительно развивающийся человек семнадцати лет от роду. Его любимый писатель – Леонид Андреев. Он хорошо играет на гитаре. Он один из тех, кто к окончанию школы уже прочел, продумал и понял очень многое, но совершенно неизвестно, чего от него ждать. Ясно одно – он будет делать только то, что хочет, а вот чего он захочет – я предсказать не берусь. Несомненно только, что он добьется своего, но описать это свое я тоже не рискую. Привлекательно в нем то, что он не любуется собой и не жалеет себя – это редкость и для его возраста, и для его поколения. И еще у него есть дар предчувствия, так что читайте внимательно.

Дмитрий Быков

АНДРЕЙ НИКОНОРОВ
Родился в 2003 году в городе Жуковский. Победитель конкурса «Класс», студент МГИМО.

НОЧЬ ПЕРЕД

НАПИСАНО ЗА КАРАНТИН

I.

Резкий тост с холодной головой!
Голос, крики, ледяной прибой,
Речка разрезает слободу,
Я, качаясь, скоро упаду.

Воздух спертый, душно и темно,
Неба режет черное сукно
Рыболовный месяца крючок,
Я иду, качаясь, в кабачок.

Пусто, странно, горько, тяжело.
На штанах разлитое вино.
Кинул в землю втянутый бычок –
Позади заплывший кабачок.

II.

В жизни больше нечего терять,
Медный крест на ледяной груди.
Пара стопок водки, и опять
Пара темных улиц позади.

В жизни больше нечего ловить –
В лужи больше незачем нырять.
Попрошу на лавочке налить,
Пара темных улиц, – и опять

В горле ком, да мутно на глазах.
В небе ледяной овал Луны.
Звезды, как хрустальная слеза.
Улицы уперлись во дворы.

Я вздохну, но глаз не отведу.
Рядом – ни одной души, и тишь.
Я домой сегодня не приду,
Там, где ты, уже, возможно, спишь.

Окна не горят уже давно.
Катится за горизонт Луна.
Я смотрю нелепое кино:
Наливаю, пью – до дна.

В жизни больше нечего терять,
Медный крест на ледяной груди,
Что-то мне мерещится опять
В темной ночи улиц впереди...

III.

Сыпятся с неба глыбы.
Кожа хрупка, как лед.
Волосы встали дыбом.
Кто-то во тьме бредет.

Лают собаки, воют.
Ночь холодна, темна.
Звезды ковром укроют
Страшные времена.

Это все глупость, право.
Щуря затекший глаз,
Годы спустя, одичало
Вечность глядит на нас.

Бьют сапоги под ритм.
Их не сломать стези.
Втаптывают сердито
В грязь у дорог – стихи,

В мутные лужи – слово,
В мусор оврагов – глас,
И только тьма одиноко
С неба глядит на нас.

IV.

Фонари – отпечатки Луны.
Эту схожесть давно заприметил.
Оттого, видно, ярко так светят
Из обжитой своей конуры.

Их в деревне нашей так много,
Что иные из них не видны нам.
Ибо вылезут из тишины
И во тьме стоят одиноко.

А Луна в неба черный гудрон
Обмакнет кисть цветком ванили.
Как же в древности люди жили
Без столба с фонарем под окном?

V.

Не свистят надо мною ни пули, ни птицы.
Я сижу не в окопе, а над белым листом.
Не успеет в лесу ко мне Савва явиться –
Раздеру себя сам. Да и дело с концом.

В моем городе снег круглый год – с Первомаем!
Он ложится на землю, как заспанный пес.
Я иду в ночь, к фонарным столбам прилипая,
И несу тебе то, что когда-то унес.

Я верну тебе то, что случайно отнято.
Я верну тебе то, что забыла ты вскользь.
Я такой же, как раньше: нечайно помятый
И гляжу, будто пьяный: с улыбкой и вкось.

Холод мая умаял. Завывал ночью ветер.
Пара острых движений фитилька и клинка:
Задыхаются птицы, у ручья что-то бредя,
И не дрогнет моя, как и прежде, рука.

Это было давно. Капли с крана да эхо.
Это все, что останется нынче со мной:
Пара ломаных строк до скончания века,
Карандаш и блокнот, бездна и перегной.

VI.

Гнутся скелеты берез
Под лютым северным ветром.
Катятся капельки слез,
В водосточных трубах звеня.

Снова ищу в вопросах
Спрятанные ответы.
Это так же непросто,
Как напрочь забыть себя.

Как имя свое посеять
Где-то под Хиросимой.
В личной своей Одиссее
Снова ныряю я в беды.

Но спать мне невыносимо,
Образ выходит из грез:
Под лютым северным ветром
Гнутся скелеты берез.

VII.

Звезды по небу гуляют,
И дрожит свеча.
На тарелку снег роняет
Шапка кулича.

Небо чисто, ветер свежий –
Трижды поцелуй.
Как невиданный проезжий,
Месяц улыбнулся.

Лес мне шепчет о секрете
Тихим шумом крон.
В ветхом, новом, но – завете
Он и погружен.

Ночь о вечности и мире
Что-то начала.
Я один, в своей квартире,
Светит мне Луна.

Ночь во всю бушует ветром,
Мне стучит в окно,
Только мне за рамой этой
Без свечи темно.

Я укрылся одеялом,
Тайну начал ждать,
Но она мне не являлась.
Начал засыпать.

Свечка до утра дымилась.
Капал теплый воск.
И наутро прояснилось,
Что воскрес Христос.

12.04–24.05.2020
Звенигород

АНДРЕЙ САМОХИН
Родился во Львове, всю жизнь прожил в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. Писать стихи начал в 15 лет. В 2015 году вышел поэтический сборник «Душа-беглянка».

КАРАДАГ

Где кончается поселок – начинается гора
Мимо кладбища проселок,
черносливы у двора...

Бродят куры по иссохшей
в порах-трещинах земле;
спит ковыль в степи оглохшей
в знойной и косматой мгле.

Во дворах стирают, варят,
с крыш змеится виноград...
Осень по местам расставит,
кто был прав, кто виноват.

Осень выметет приезжих,
словно с пляжей чешую
И окажется прилежней
отпускных «люблю-люблю» –

– трезвость будней,
дух полыни,
дым, летящий в вечера.
Сверху вниз с лицом пустыни глянет черная гора...

* * *

Октябрьский воздух свеж и волен –
несет дымком, и первым льдом резные
ветви колоколен застыли в лужах. Холодком
сияет просинь горней выси, и на душе спокойно так,
как будто кто-то, сдув все мысли,
с небес нам подал тихий знак – молчать
и слушать эту осень,
запомнить золото листвы,
забыть все то, о чем мы просим,
в чем мы не правы иль правы…
И ощутить себя младенцем средь облетающих берез,
и не умом понять, а сердцем,
что свят и сумрак, и мороз, уже стоящий на пороге,
И снежный сон всея земли…
Все наши страсти и тревоги – лишь ворох листьев при дороге,
где из полей – седы и строги
уходят в небо корабли.

ДЖАЗ

Прошедшая гроза,
сквозные поезда,
распахнутые настежь перегоны…
в цикадах и тоске,
как жилка на виске,
пульсируют чумазые вагоны.

От края на песке
бьет море в унисон,
подходит к снам купе,
к бегущим вдаль сортирам;
почти на волоске от слез
над черным миром
Чуть пробует две ноты саксофон…

ПРОЗА

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА

ДЕНИС ГУЦКО
Родился в 1969 году в Тбилиси. Окончил геолого-географический факультет РГУ. В настоящее время работает редактором информационной службы ДГТУ.

Первая публикация — повесть «Апсны Абукет. Вкус войны» («Знамя», 2002, №8). Лауреат премии «Русский Букер» (2005). Роман «Бета-самец» входил в коротний список премии «Русский Букер» в 2013 году.

ДАРЬЯ ЗВЕРЕВА
Родилась в 1989 году в Ростове-на-Дону. В 2011 году окончила химический факультет РГУ. Книжный блогер, главный библиотекарь Донской государственной публичной библиотеки.

Даже грубость официанта – минуту, я не могу разорваться! – не сработала, не задела. Мимо, не сегодня. Смотрела на размытый, октябрем испачканный проспект и тихо радовалась – так хорошо получалось держаться. Ироничная, неуязвимая, в новых, на последние деньги купленных ботильонах. Давно нужно было перестать играть в «я сама» и устроиться через дядю Лешу. Да, да, да, по знакомству все иначе. Я от Алексея Романовича – и сразу улыбка на только что гранитном лице. Конечно, но придется подождать, до десяти редакционная летучка, вон диванчик или напротив кафе, там прекрасные сырнички. Еще вчера ей и этого бы хватило: решилась, пришла – и вдруг ждать. Искать место, там другие люди, к которым не готова. Хорошо, спасибо – и ушла бы, и не вернулась. А сейчас вот: нога на ногу, изучает голые манекены в витрине через дорогу, и ни грамма растерянности, не заглянуть ли на распродажу, время есть.

Из особняка редакции мимо бутика скользнула женская фигура в наброшенном на плечи пуховике. Третья за десять минут, и снова в соседнюю столовую.

Дядя Леша был прав. Хоть с двумя дипломами, хоть с тремя, ты никто и звать тебя никак, потому что связи, а не то, что вам понарассказывали!

Давно нужно было уйти из музея. Сразу, как только началось это «Лизонька, придется завтра выйти, Лизонька, не забудьте убрать за гостями». Платье ниже колен, каблук шесть сантиметров и, пожалуйста, придите с укладкой, министр любит строгость. Устраивалась экскурсоводом, пришлось и уборщицей, и посудомойщицей, и ткачихой с поварихой со сватьей бабой Бабарихой. Обратите внимание, в центре новая экспозиция – копии рукописей, макеты оружия, проходите, чем бог послал, чай-кофе, черная икра. Большие неудобные люди. Каждый – как чемодан без ручки. С каждым отдельная возня. Бессонница, злость, пальцы пахнут брауншвейгской колбасой. Перед глазами тарелки с присохшими ошметками канапе.

– Ваш латте.

Бокал встал строго, как пешка, объявившая мат. Проводила официанта взглядом. Еще один мученик капитализма. Представила, как здорово бы смотрелось: «Пошли все на хер!» – и он сдергивает с себя фартук и, шмякнув им о стойку, уходит в суровое черно-белое утро. И она кричит ему вслед: «Жги, чувак!» Но нет – пересек зал и завис над парочкой, уткнувшись в свой блокнот. А она проверила латте: теплый.

В сумке, больше похожей на портфель – всегда любила выглядеть по-деловому, – ее первая статья. Просили распечатать: Леонид Макарович предпочитает на бумаге. В статье – городской активист, призывающий мэрию организовать велодорожки. Плюс готовый землеустроительный проект, выполненный

частной фирмой, а также расчеты профессора ЛГТУ: как велосипеды разгрузят городской трафик.

Из редакции в столовую проплыл пуховик. Через три минуты поплывет обратно. Зачем они туда ходят? Встречаются с источниками? С героями интервью? Интересная работа. Интересная у нее теперь работа.

Ровно в десять Лиза поднялась в приемную.

Джемпер крупной вязки, очки в золотой оправе – Леонид Макарович встретил ее в дверях кабинета. Домашний, надежный.

– Не раздевайся, прохладно. Присаживайся. У нас минут десять.

На стене молодой Путин, благодарственные письма, иконы, фотографии с торжеств: губернаторы – бывший, нынешний – ректоры вузов, мэр, Баста, Анита Цой.

– С Лешкой мы когда-то будь здоров повкалывали. Выборы девяносто шестого. Эх!

Протянула распечатанную статью.

– Что это?
– Вы просили что-нибудь написать. Там эксклюзив по транспортной проблематике, я нашла…
– Оставляй, посмотрю твой эксклюзив.

Оставила, но немного расстроилась: надеялась сразу блеснуть, представляла, как он принимается читать – ну-ка, ну-ка, что тут у вас – и скептическая прохладца сменяется удивлением, он отрывает взгляд, качает головой – очень даже недурственно, знаете. В самой нескромной версии он кричал редактору – или кто там у него под боком: это на первую полосу! Ничего, можно и так.

– Концепция нашей газеты тебе известна?
– Конечно, я…
– Старейшая газета города! Все прогорают, а мы живее всех живых. Главное – внимательность. Журналист должен быть гипервнимательным. Никаких ошибок в именах, фамилиях. Нас читают уважаемые люди. Неграмотность оскорбляет. Город нужно знать. Обязательно! А как же! Досконально нужно знать. Вот ты знаешь, например, где у нас улица МОПРа?
– МОПРа?
– МОПРа!
– Где-то на Западном?
– Так. Плаваешь. А как расшифровывается, знаешь?

Почувствовала, как деревенеет и мокнет спина. Что за МОПРа, что за шляпа?

– Вот. Видишь. А нужно знать.

Кто-то заглянул в кабинет, Леонид Макарович отмахнулся – не сейчас. Не глядя, сбросил звонок, вздохнул: ни минуты свободной. Она понимающе улыбнулась. Понедельник руководителя, раскаленный и стремительный.

– Девочки все объяснят. Иди. Лидия Пална проводит.

Следом за ней уже входила пожилая секретарша с кипой бумаг в цепких птичьих лапках, глянцево и пурпурно когтистых.

– Подождите меня здесь, выдам пропуск.

Дожидаясь Лидию Павловну, стояла у окна. Внутренний дворик засыпан подгнившими тополиными сердечками, бурыми рожками акаций. В середине пустой квадрат бассейна – щербатая синева плитки. На поручнях лесенки грач. Клюнул железо и улетел. Ветки качнулись. Подумала: когда устраивалась в библиотеку, в мае, и город был весь медовый и сиреневый, и затоплен светом, совсем другой был настрой – как в заброшенную шахту, как будто сон вещий приснился – что снилось, забыла, но точно знала, ничего хорошего не жди. В этот раз все иначе. И сиротливый грач, и заброшенный бассейн – а на душе спокойно и празднично. Интересно, как здесь бывает по праздникам? Леонид меняет кофту на вельветовый пиджак, сдвигают столы, хлопают шампанским.

– Идемте.

Лидия Павловна спустилась с ней на второй этаж, открыла новеньким магнитным ключом массивную металлическую дверь – тебе туда, знакомься, приступай. Лиза шагнула в большую, заставленную пустыми необжитыми столами комнату.

– Наташа, принимайте новенькую! Держи ключ. Удачи.

Молочного цвета стены. Без фотографий, без картин. Несколько рабочих мест в дальнем конце: видавшие виды длиннозадые серенькие мониторы. Неожиданно пустынно. Тишина. Кто-то монотонно жмет пробел. Почудилось вдруг: пахнет манкой – когда нянечка только что поставила на стол мятую алюминиевую кастрюлю и крутанула в ней гигантским черпаком.

Наташа махнула ей рукой, подзывая. Коллеги поправили пуховики на плечах, и каждая уткнулась в свое. Десяток плотно сдвинутых столов. Большие, не офисного покроя – за такими можно разместиться и по два. Лиза заметила шеренгу стульев, выстроившихся вдоль стены, прихватила один, устроилась в проходе. У Наташи обнаружилась тугая русая коса вдоль спины и пылающий во все щеки румянец.

– Меня Лиза зовут.
– В газете работала?
– Нет.
– Леонид Макарович сказал ввести тебя в курс дела. Значит, смотри… Да не раздевайся, куда! Отопление только в декабре включат, шеф эконо-

мит. Кстати. Тебя же предупредили? Больничные с оклада, а это, сама понимаешь, копейки… Так. В общем, в восемь нужно быть на месте, в девять сдаем выпуск. Без опозданий, с этим строго. Карточки именные, система фиксирует автоматически. Никакой еды на рабочем месте. Только в комнате для приема пищи. Там, по коридору. Покажу потом. Или в кафешках. Куришь?

– Иногда.

– Лучше бросай. Шеф не курит. Курилки здесь нет. Что еще? Ржать громко нельзя. Шефа бесит. Громко стараемся не говорить. Акустика ужасная. Вообще, сиди работай. Леонид Макарович может в любой момент зайти.

Фиолетовый пуховик за соседним столом тревожно зашелестел.

– Наташ, а о чем она писать у нас будет? В криминальной хронике мне помощницы не нужны, например.

Наташа задумалась.

– Про культуру могу.

– Э! – Над монитором в среднем ряду резвым поплавком вынырнула миниатюрная блондинка. – Культура моя. Наташа, что за дела? Договаривались же. Моя же культура!

– Да погоди ты, Тань! Разберемся. Первый день. Не успела толком ввести. Что ты начинаешь?

– Вот и вводи! А культура моя.

Таня скрылась за монитором. Наташа ободряюще махнула рукой: не обращай внимания. Но что-то непоправимо изменилось. Тишина загустела. Напряженное поскрипывание стульев и редкие клики мышек.

– Смотри. Мы сейчас готовим материалы на завтра. У тебя пока ничего нет, правильно?

– Я у Леонида Макаровича оставила.

– Ну, не суть. В каждый номер идет раздел «Поздравления». Мы по очереди отрабатываем. Возьмешь там в общей папке на диске, посмотришь примеры. Душевные слова, комплименты, дело несложное. Лимит четыреста знаков. Разберешься. Твоя папка с завтрашней датой. Там все указано, кто поздравляет, кого и с чем. С тебя тексты самих поздравлений. Найдешь в стихах, еще лучше. Шеф любит.

– Наташ, может, она сама сочиняет? – предположила Таня. – Человек все-таки культурный. – И засмеялась.

– Тогда заберет себе на постоянку «Поздравления». Да, Лиза? На них надбавка, как за рекламу.

В окно было видно кафе, в котором полчаса назад она дожидалась назначенного времени, и за *ее* столиком парень с пучком на макушке залип в телефоне. Откинулся на спинку кресла, не глядя потянулся к чашке. Больше ничего не было видно – стекло кафе зеркалило, разбухало разномастными фасадами, автобусами, узловатой пятерней каштана. Отсюда и весь проспект был сплошной импрессионизм: красно-белые пунктиры габаритов и суматоха зонтов под мутно тлеющими вывесками. Так же мутно тлели буквы на старом выпуклом мониторе. Щурилась, привыкала. И монитор всматривался в нее квадратным мерцающим глазом: кто такая, зачем пришла?

Ламповость, думала она. «Любореченское время», старейшая газета в городе. Легенда. Бренд. Раздел поздравлений – да, немножко смешной. Но если разобраться – традиция. Ламповость! Трудовой коллектив Третьего троллейбусного парка поздравляет с юбилеем главного бухгалтера предприятия Шаповалову Злату Сергеевну. Цветочная виньетка, пожелания золотых достижений и платинового здоровья. Сначала всегда так – проходное и второстепенное. До важного нужно дорасти. Важное просто так не доверят. Придут репортажи, интервью на разворот. Вряд ли «Дело о пеликанах», конечно, да и не надо. Можно и в вечерке стать журналистом. Покажет себя – и девочки примут. Нужно вжиться. Всегда вживалась.

С поздравлениями, правда, как назло: не умела никогда.

Фантазией трудовые коллективы не отличались: директора горячо любимы, главврачи – профессионалы от бога, кадровики – надежная опора, старейшие сотрудники отдавали себя делу целиком, готовили смену, подавали пример, заслуженным учителям и воспитателям удавалось вырастить не одно поколение достойных людей, главы администраций заботились, генералы оберегали, все получали свои десять строк счастья, здоровья и долгих лет жизни. Стихотворными одами архив был не богат. Она решила посмотреть в Сети. Но браузера в списке программ не нашла. Поинтересовалась, как выйти в интернет, и узнала, что отсюда никак: только локальная сеть, если очень нужно, выходи с телефона, возле окна ловит вай-фай бутика, он без пароля.

– А почему?

Головы вскинулись над мониторами.

– В смысле?

– Ну, то есть… а как работать без выхода в интернет?

Наташа вздохнула, отчеканила, как таблицу умножения:

– Газета коммерческая. Живем своим трудом. Деньги из бюджета не сыплются. Шеф экономит, где можно. Хотя бы не на премиях, и то спасибо.

В проезде возле кафе остановился красный внедорожник. С заднего сиденья долго, враскачку и рывками, выгружалась дородная женщина. Что-то весело кричала водителю, короткой ножкой нащупывала асфальт.

Лиза включила телефон, потянула пальцем панель уведомлений. В мессенджере пришло сообщение. Написал Вадим из «Тиндера». Переписка началась в прошлую среду, перебралась в «Вотсап» и держалась без «приезжай, не пожалеешь» и фотографий «познакомься с моим красавцем». Лиза приготовилась было согласиться на свидание, но потом передумала: все-таки ниже ее ростом, придется постоянно ходить в кроссовках, и ошибок многовато.

– Привет, солнешко. Как день?
– Привет. Приемлемо.

Ответил сразу:

– Почему долго не отвечала? Занята?

Промотала переписку вверх, чтобы вспомнить, кем ему представилась, написала:

– Обход затянулся. Много тяжелых.
– Опять на дежурстве? Хотел тебя на «Мстителей» позвать.
– Я бы с удовольствием. Но еще две операции. Кишечная непроходимость сама себя не вылечит.
– Фу-у, я же ем!
– Тогда не буду кидать селфи из операционной. Раз ты такой нежный.
– Да, да, я нежный.

И эмодзи с нимбом.

– А фотку все же можеш прислать. Страсть люблю девченок в медецинском халате.

Она отыскала в «Галерее» припасенную на этот случай фотографию: сдобные бугры в вырезе белого халата. Лица не видно, снято на телефон, за спиной на стене кружка Эсмарха. Картинка что надо. Хотела подписать: «Аккуратней, не повреди руку, самец». Уже набрала, но решила смягчить – не то настроение.

– Ну как?

Отправила с кокетливым смайликом.

В ответ прилетел котик с вытаращенными глазами и вздыбленным распушенным хвостом.

И следом:

– Третий размер?
– Глаз алмаз.
– Надеюсь когда-нибудь потроготь.
– Если будешь хорошо себя вести.
– Давай встречю после дежурства?
– Подумаю.
– Че думать?

Она обвела взглядом кабинет, торчащие над допотопными мониторами макушки.

– Ок. Приезжай в 9 к Областной клинической. Только веди себя прилично.

Успела получить пульсирующее сердечко и вышла из мессенджера.

«Как себя чувствуете?» – написала она дяде Леше. Звонить было некогда. Коллектив академического музыкального театра ждал от нее душевных слов в адрес директора Ивана Федоровича Татарина. Семидесятипятилетие, два фото на выбор.

«Яндекс» выручил. По запросу «юбилейные поздравления в стихах» высыпались многостраничные подборки. Полистав немного, выбрала игривое: «Сегодня, в этот дивный светлый день Вас поздравляют все кому не лень…» Перепечатала с телефона в компьютер, пересчитала знаки, убрала третью строфу – тютелька в тютельку. И, случайно сдвинув мышкой таблицу, обнаружила в соседней открывшейся ячейке пометку «некролог». Ошиблась строчкой: семидесятипятилетний юбиляр Петр Иванович Кравцов, начальник гальванической линии, обосновался чуть выше.

– А что, здесь и некрологи?
– Ну да. Там все написано. В этот номер двое, кажется. Невосполнимая утрата, сохраним в наших сердцах. Все как обычно.

Зябли руки. Вытянула рукава водолазки из-под куртки.

– Некрологи тоже можно в стихах?
– Главное, четыреста знаков. Шеф потом высчитывает. Они же по знакам платят.

Лиза попробовала исправить: «Сегодня, в этот скорбный, тяжкий день Вас провожают… мы провожаем… поминаем…» Но ничего взамен исходного «все кому не лень» в голову не приходило. Она вздохнула и снова полезла в Сеть. Оповещение из «Тиндера»: пять новых совпадений. Смахнула. Открыла браузер.

Единственным совпадением, которое завершилось постелью, был гробовщик Игнат. Так и не поняла, как вышло. Думала просто выбраться из дома. О свидании договорились в первый же день. Работу, хобби, жилищные условия обсудить не успели. Глупых вопросов не задавал, широкие плечи, рост метр девяносто два, под фотографией цитата Ницше: «Есть два пути избавить вас от страдания – быстрая смерть и продолжительная любовь». Что-то в нем было. Пригласил не в клуб, а в солидный Faimous. Пришел в офигительном синем костюме.

Брюки как влитые, пиджак – как на Джеймсе Бонде. Не удержалась: вау, какой стильный лук. Прижал руку к сердцу: благодарю, свой портной, лучший в городе.

Он сказал еще за аперитивом. Она спросила, он ответил. Похоронный бизнес. Она решила – шутит, и рассмеялась. Сама любительница накрутить. А он не стал заострять.

– В детстве, правда, мечтал стать ландшафтным дизайнером.

Когда он элегантно расплатился наличными – длинные пальцы, летучий жест, купюры хрустнули, как в гангстерском фильме, и вот он протягивает ей руку – идем? – она уже представляла, как знакомит его с дядей Лешей, а назавтра у них самолет в Пхукет.

Утром проснулась в его спальне одна. Пахло кофе. Накинула блузку, отправилась искать. Захотелось посмотреть на мужчину, который варит ей кофе. В кухне на первом этаже выкипала гейзерная кофеварка. Где-то рядом слышался голос Игната. Выключила плиту. Вернулась к лестнице и пошла на голос. В куцем коридорчике – шагнула, и закончился – за велюровыми бордовыми занавесками нашла стеклянную дверь. В просвете – гробы, кресты, венки, Игнат в офигительном черном костюме. Перечисляет варианты цветочного оформления. Стандартный пластик. Легко простоят сезон, качественный Китай. Есть живые венки под заказ, но дорого. Или гвоздики, вечная классика.

«Коллектив Музыкального академического театра выражает свои глубочайшие соболезнования семье и близким безвременно ушедшего из жизни чуткого и талантливого руководителя Ивана Федоровича Татарина. Скорбим о тяжелейшей невосполнимой утрате для всего культурного сообщества Люберецка, для всех истинных ценителей музыкального искусства. Вечная память».

Наташа одобрительно хмыкнула.

– Добавь еще «Уходят лучшие». Место вроде есть. Видишь, там звездочка над фамилией? Это бонус от шефа для тех, с кем он был лично знаком.

Дело было к обеду. Вспомнила, что дядя Леша так и не ответил. Не случилось ли чего? Выйти позвонить, чтобы не мешать никому. Заодно в туалет, там и руки согреет под горячей водой.

– Э! Ты куда собралась? Не в туалет?

Лиза обернулась растерянно. Четыре пары глаз ждали ответа.

– Что, простите?

Утонувшая в меховом жилете пышка за дальним столом выглядела недовольной.

– Наташ, ты что, ничего ей не объяснила?
– Да что вы как дети малые? Я вам не мамка! Сами!
– Тебе же поручено.
– Ой, все! Некогда, отвяньте.

Таня подошла – как будто даже с улыбкой.

– Слушай, у нас тут такие дела. Туалет открывается карточкой. Каждая карта срабатывает один раз. В день один раз. Понимаешь? Здесь же время строго нормировано. Система такая. Сколько на прием пищи, сколько на биопаузу… ну, на туалет. Кто-то там из экономистов рассчитал. В общем, суть в том, что в сортир во второй раз карта тебя уже не пустит. Поняла?

Лиза кивнула. Таня выглядела вполне серьезной. Оставалась все-таки надежда, что розыгрыш: всех новеньких так разводят, традиция. Вот-вот бахнет общий смех. Но все молчали. Пышка сосредоточенно застегивала жилет.

– А если мне нужно еще раз?
– Во-от. Об этом и речь. Поэтому собираемся и ходим по одной карточке вместе. Захочешь в туалет, спрашивай, кому еще нужно. Бывает, еще и потерпишь часок-другой. Я вот с одиннадцати ждала, репортаж дописать успела. Можем по моей сходить, если хотите.

Наташа засобиралась вместе со всеми.

– Запугали девочку. В соседнее кафе еще можно, Лизок, если прижало. Скажешь, из редакции, они пускают. Но карта все выходы фиксирует, не забывай. Потом, если время набежит, приходится сидеть, восемь рабочих часов высиживать.
– Девчат, ну мы идем?

Дяде Леше позвонить не удалось. За дверь не выйдешь – карточка, в тамбуре шумно.

Зато оказалось, не такие уж замкнутые. В ожидании своей очереди каждая делилась новостями. Засолила капусту, не влезла в новую юбку, муж поставил пароль на телефон – говорит, на работе крыса завелась, но скорей всего, брешет.

– Маша, как у тебя с Олегом?
– Да как, с матерью до сих пор не знакомит.
– Люда, у тебя колготки зацепились.
– Ездила в прошлый раз на суд, там опять этот опер, ну и я стратегически уступила. Он зашел с левбердона. Шашлык был шикарный, но на закуску мне достался корнишон. Не в обиде, конечно, зато теперь свой человек из органов.
– Ну, Людмила, ты в своем репертуаре.

По пути назад встретили Леонида Макаровича.

– Отнерестились, рыбы мои?

И моложаво взлетел по лестнице.

Лиза рассмеялась вместе со всеми.

На прошлой неделе в «Тиндере» написал ее мальчик со скрипкой. Просидела полчаса над неоткрытым сообщением, не могла решиться. Он и «Тиндер» существовали в параллельных мирах. И вдруг пространство искривилось, распалось – и перед ней предстал чужой мужчина по имени Андрей, присвоивший рыжие бесконечно родные глаза. Лысеющий, растерявший веснушки, машет рукой из туристического пальмового рая: «Привет! Надо же! Ты совсем не изменилась».

Она не сразу поняла, что происходит – почему он ей пишет. Свайпнула, получается, вправо. Механически, в числе прочих – не узнала совсем.

Дедушка водил его в музыкальную школу по средам и пятницам одной и той же дорогой, под ее окном. И она ждала. Чтобы увидеть, как красиво покачивается скрипка в его руке, и челка скользит по лбу, и он улыбается ей, безымянный, но лучший на свете. Приветственный всплеск руки, привычно встретившиеся взгляды. На заднем фоне дедушка – тоже смотрит, тоже узнает. Четыре секунды на все – прошли и свернули за угол. История застенчивой первой любви, непривередливой и беззаветной. Каждую среду и пятницу летела домой из школы, чтобы вовремя оказаться у окна. Так и не решилась выйти – как мечтала. Так и не столкнулась с ним на улице или в трамвае. Почему-то судьба не припасла для нее такого сюрприза. Он все понимал. Она ему тоже нравилась. Ее скрипач с рыжими глазами. Единственная фраза, которую он ей сказал – прокричал, проходя в очередной раз мимо: «Мы переезжаем! Пока!» Она пролежала лицом в подушку до позднего вечера. Скоро жизнь возобновилась – детство торопливо и ненасытно, – но уже совсем другая. Больше не было в ней тихой сказки о том, как принцесса и музыкант полюбили друг друга, но вместе быть не могли.

Она не ответила мужчине по имени Андрей. Заблокировала, как многих других – чужих и ненужных.

– Ах ты тварь!

От неожиданности Лиза подскочила и прижалась спиной к стене. На какое-то мгновение показалось, что коротко стриженная блондинка несется прямиком на нее, замахиваясь чем-то на бегу. Но нет – мимо. Над столами пролетела кружка. Врезалась с треском в простенок между окнами.

– Я же говорила тебе, это моя тема!

Изучив презрительным взглядом обломки, Люда поднялась, правой рукой многозначительно подцепила спинку стула.

– Ты че, овца? А? Ты на больничном была, мне Леня сказал отработать!

– И что? Я бы из дома отписала! Трудно было позвонить?

– Мне делать больше нечего, тебе звонить? Сдалась ты мне со своими волонтерами! Сто лет не тарахтело!

Поправив на плечах жилет, Маша первой вернулась к работе. Сунула наушники в уши, застучала клавиатурой.

– Вы можете не орать, а? – Наташа устало откинулась на спинку. – Тут вообще-то люди работают.

Лиза выдохнула и осторожно опустилась на стул.

Кажется, ничего, сейчас утихнет, какие страсти, однако.

В дверях стояла Лидия Павловна, царапала красным маникюром воздух.

– Лизонька!

И всем своим видом показывала: не трать время, у меня важный вопрос. Сумку, показала жестом – захвати сумку.

– И не такое бывает. Идемте, Леонид Макарович за вами послал.

Вышли в коридор.

– Лидия Павловна, честно говоря…

– Ой, – Лидия Павловна скривилась. – Просто не берите в голову, я вам советую.

Повела ее не на второй этаж, в кабинет шефа, а к выходу.

– Как удачно, что вы сегодня в юбке, Лиза.

Успокоилась. Доверилась тому, что подразумевалось – вас это не касается, вы ведь совсем другое дело, – а еще больше доверилась иронии пожилой ухоженной дамы. Откуда-то в ней проросла уверенность: там, где пожилые ухоженные дамы ироничны, не все так плохо.

– Что насчет юбки вы сказали?

– Леонид Макарович объяснит по дороге. Вы нас сегодня здорово выручили.

У входа ждала черная служебная «Волга». Леонид Макарович выглядывал в открытую заднюю дверь.

– Прекрасно!

И похлопал по сиденью.

Она села рядом. Длинные полы драпового пальто аккуратно подобраны на колени. Пластмассовый иконостас на парпризе. Водитель жарко пахнет табаком.

– А куда мы едем?

«Волга» тронулась, натужно разогналась, нагло вклинилась в поток.

– Сегодня же учителей чествуют. День учителя. Нужно цветы на сцене подавать. Представляешь, нигде не смогли девочку нормальную найти. Одну свою взяли, вторую по всему городу обыскались.

Все как на подбор неформат. Или в брюках, или толстая, или с розовыми волосами. Хорошо, нам сообразили позвонить. А нужно было всего лишь, чтобы в юбке хотя бы по колено и без всех этих ваших пирсингов, шмирсингов, наколок. В наши дни наколки носили только воры в законе, моряки и портовые шлюхи. Прости, Лизонька. А теперь она десятый класс заканчивает, и вся расписная.

Лиза подумала о своих бабочках, которых Леонид Макарович никогда не увидит, если, конечно, не решит полистать ее «Инстаграм», – и виновато съежилась.

– Там не трудно. Ты не волнуйся.

На светофоре в соседнем ряду остановился автобус. На боку реклама музыкальной школы «Виртуозы». Седовласый сорванец молотит по ударной установке.

– Кстати, посмотрел я твой эксклюзив. Ну что сказать. С концептом нашим ты все-таки слабо разобралась. О всякой такой велосипедной ерунде мы не пишем. Ну, представь, приходит наш человек после работы домой. Уставший. Забирает из почтового ящика газету. Семья садится за вечерний чай. Он зачитывает новости, ищет интересное. У него и так полно негатива. А тут все эти проблемы – построили, не построили, кому-то чего-то опять недодали. Нет, нет. Человек хочет отдохнуть в кругу семьи, расслабиться. Посмеяться, почему бы нет. Вот смотри, Маша в этот номер отписала.

Загорелся зеленый, «Волга» кашлянула и покатилась дальше. Леонид Макарович зачитал из сложенной в четверть газеты:

– Покой артистки охраняет кладбищенский слон.

Шлепнул тыльной стороной ладони по бумаге.

– О! Как тебе заголовок? Кладбище, слон, артистка. Цепляет!

Продолжил.

– На Северном кладбище есть необычное надгробье – слон, стоящий на задних ногах. Корреспондент «Люборецкого времени» провела расследование, чтобы узнать, чей покой он охраняет… На, держи, дома почитаешь. Там целая история.

Лиза приняла газету, спрятала в сумку.

– Вот так темы находятся. А ведь Маша просто к деду на могилку сходила, а по пути интересный памятник. Сразу – кто, что, разузнала, вышла на родню. Или вот, два номера тому назад хохма была. В доме для престарелых эпидемия хламидиоза. Реально повальная эпидемия! Народ там веселится от души. Или Люда на свадьбе была. В августе, кажется. Запилила прекрасный обзор. Чем отличаются свадьбы зимние от летних. Какие дороже обходятся, где больше водки уходит. Это ж не только интересно, это какая людям польза!

В библиотеке она работала в отделе реставрации фонда. Кабинет на последнем этаже. На первом – зимний сад, над садом, отражая его, – стеклянный квадрат: колодец, опрокинутый в небо. В колодце летучие мыши. Бархатистые угловатые плоды. В лучах вечернего солнца тлели прохладной медью. Попали однажды внутрь в открытые для вентиляции люки и решили остаться. Тем же путем вылетали по вечерам наружу, охотиться за мошкарой. Иногда путали небесный свет с электрическим и отправлялись в полет по библиотеке, пугая библиотекарш и читателей. На отлов, недовольно шлепая стоптанными засаленными тапками, отправлялись сонные охранники, и если они не справлялись, в бой вступали вооруженные швабрами уборщицы.

Однажды под Новый год Мистер Мышь упал ей прямо в руку. Вела экскурсию – вон там у нас читальные залы, правее сектор гуманитарных наук – и что-то мягко клюнуло в ладонь. На ступеньке лежало крылатое шоколадное тельце. Не прекращая говорить, отвлекая паникеров рассказом о новом клубе японского языка, подняла и сунула в карман. Запрос «как спасти летучую мышь в спячке» подкинул инструкцию: поместить в холодильник до весны, весной разбудить, накормить и выпустить. Мистер Мышь прожил с ней до апреля.

– Приехали. Идем.

Несколько ступенек вверх. Бетонная колоннада. Наковальня груди, как вкопанная в створке служебного входа. Театральный часовой, вечная баба Нюра. Посторонним нельзя, вы куда, молодые люди? Леонид Макарович подхватил Лизу под руку: это со мной, не узнали?

– Сюда, Лизок.

Узкая лестница. Навстречу сбежала напуганная чем-то женщина в высокой прическе. Лизе почудился запах колбасы. Она отшатнулась, врезавшись плечом в стену. Прошли коридором, спустились по такой же лестнице в пыльный гудящий голосами полумрак.

– Рита! Вот и мы!

Из глубин закулисья к ним двинулся коренастый силуэт на гулких каблуках.

– Рита за главную. Нормальная баба, не робей. Младенцев не кушает.

И легонько подтолкнул.

Каблуки стихли на полпути. На угол стола, заваленного букетами, встала коробка.

– Помощница! Дел по горло.

Лиза подошла к столу.

– Берешь, – начала Рита. – Как зовут тебя?

– Лиза.

– Очень приятно. Маргарита Тимофеевна. Берешь медали, раскладываешь вон на том столе вот по этому списку. Держи. Это список. Через двадцать минут начало.

Мистер Мышь проснулся не сразу. Она щекотала ногтем распяленные ноздри, дула, подносила к окну, чесала смешное пузо. Мистер Мышь и ухом не повел. Оставила на солнечном балконе, завалилась на диван с книжкой. И часа через три, сквозь чье-то расставанье и восторженное стрекотание кузнечиков – вдруг услышала его. Слабый – и торжествующий звук.

– Я проснулся! Я не сдох!

Она кинулась на балкон. Растопырив спичечные локти, Мистер Мышь оторвался от картонного дна – дрожащий, живой. Неверными рваными движениями тянулся к балконному стеклу – туда, где свет и ветви акации. Лиза распахнула створку настежь, высадила его осторожно на жестяной отлив. Погладила напоследок шерстяную спинку. Он приподнялся, осматриваясь. Складки ненатянутых перепонок угольно блестели. Почесал затылок – и решительно нырнул вниз.

– В правую руку берешь цветы. В левую я подам тебе медаль. В коробочке, уже открытая будет. Смотри, не урони. Это самое важное. Держишь коробочку на ладони. Вот так. На уровне талии. Поняла? Когда объявляют фамилию награждаемого, идешь на сцену. Подаешь сначала медаль. Стоишь с цветами, ждешь, пока проходит награждение. Никуда не уходишь, не вертишься. Когда медаль вручена, подаешь цветы. И сразу отходишь. Сразу отходишь. На фотографии ты не должна попадать. Все ясно? Отдала цветы и сразу шаг назад. И ни в коем случае спиной к залу не поворачиваешься. Бочком, вот так, так, спинку держим, внимания не привлекаем. Красиво. Улыбаемся. Сможешь улыбнуться? Какая-то ты, ей-богу, кислая, прости за откровенность.

Она улыбалась. В правой руке цветы. В левой медаль.

Софиты слепили. Зал аплодировал, шевелился, смотрел.

– Почетным званием «Заслуженный учитель Любореченска» награждается Галина Евгеньевна Береста, учитель географии МОУ СОШ номер сорок четыре.

Аплодисменты. Красное гипюровое платье счастливой Галины Бересты.

– Поздравляю.

– Спасибо.

– Куда? А фото?

Шаг назад. Бочком, ровная спина, подальше от фотовспышек.

Вторая такая же – в правой руке цветы, в левой руке медаль – приготовилась к выходу.

– Почетным званием «Заслуженный учитель Любореченска» награждается Юлия Дмитриевна Беспалова, учитель математики МОУ СОШ номер одиннадцать.

Если бы ей вручали медаль – что-нибудь такое, на виду у всех, – она бы ни за что не надела гипюр. Совершенная безвкусица. Как тетушка на деревенской свадьбе. Гипюр! Красный! Бедные дети.

Не забыть отыграть на «Тиндере»: учительница русского языка, заслуженная учительница, постарайся без ошибок, хотя бы «-тся», «-ться» для начала.

В заднем кармане юбки зажужжал телефон. Выдернула. Как некстати. Дядя Леша.

– Как ты там, лапушка?

– Все хорошо.

– Как первый день?

– Перезвоню. Не могу сейчас. – Она вернула телефон в карман и, принимая букет, наконец-то расплакалась.

Октябрь 2020 года

СОЛДАТ ПРОЗРАЧНОЙ НАДЕЖДЫ

«Записки охотника» – уже не первый опыт в прозе поэта Ивана Трофименко. Возможно, его стихотворный навык и помог создать ту концентрацию и компактность, в которую уложилась череда драматических эпизодов, описанных здесь. Любовь, измена, боль, несправедливость, юность, стихи, дружба, вражда, война, зло, боль, кровь, насилие, поэзия, смерть – за туго сплетенными сюжетами проглядывается архетип, который я бы назвала инициальным мифом: герой с ментальностью подростка попадает в армию, проходит через целый ряд испытаний и выходит из них уже не мальчиком, но мужем, знающим, что почем.

«но армия показала мне истину в том, что руки можно отмыть в воде, кровь – вытереть маминым платком, с совестью дела обстоят гораздо сложнее и за правду надо отвечать».

Какой бы простой и даже как бы очевидной ни показалась нам эта мудрость, добыть ее изнутри, в личном экзистенциальном опыте, в этой *«охоте охотника»*, стоит дорогого. «Пролей кровь – и получишь дух».

Сам ритм и поэтика сбивчивого, задыхающегося, захлебывающегося текста, который можно было бы определить как конспект повести, становятся содержательными. Это судорога рождающегося на свет нового существа, проходящего своего рода инициацию мужественности и взросления, когда эго, аморфное в своей инфантильности, безответственности и беспомощности, дезориентированное подростковыми комплексами, преображается, обретая форму и становясь личностью. Личность не сливается с обстоятельствами, но в своей рефлексии становится выше их.

В прозе Ивана Трофименко это рождает парадоксальные суждения и картины, своеобразную «антроподицею», в которой «я» автора – это не страдающее лицо с глаголами в страдательном залоге, а создатель новых причинно-следственных рядов, свидетель того, что и «в узах» обстоятельств человек может оставаться свободным. В этой прозе читатель по мановению автора постоянно то спускается в мрачное подполье отчаяния и разбитых жизней, то вдруг возносится к вершинам, откуда можно увидеть целое и главное: только жизнь дает нам возможность любить.

«я здесь потому, что мне стыдно признать свою жизнь и я не знал, куда еще деваться. я здесь, чтобы оправдать унижения и плевки от старшеклассников в спортзале, чтобы оправдать чернокожую проститутку за 2500 в районе станции метро дмитровская, проститутку-узбечку за 1500 в районе станции метро савеловская. чтобы петь “артиллерия – боевая наша жизнь! ах ты, кудрявая, в знак доверия артиллеристу улыбнись!”, но если меня *убьют*, то никто не *улыбнется*. уберите свой значок гвардейца, уберите черный крест за службу на кавказе, верните меня в спортзал к старшеклассникам, верните меня к проституткам! идет валентин, мой товарищ, надо показать, что я боец, что я готов и к смерти и к войне. надо вести себя стойко!»

Эта «стойкость» личности – в движении к катарсису: самые уродливые события жизни подвластны ее преображающей силе. Даже мучитель-военрук у Ивана Трофименко, обличая, ругая последними словами и угрожая своим солдатам, заканчивает свои филиппики на высокой ноте, переводя их в иную

тональность: «но знайте, что мы мужчины и наш долг – *умереть под сопкой за маму, бабушку, сестру и всех, кого мы защищаем.* вы мои сыновья, и я горжусь вами».
Вот и с Родиной автор находит подобный модус отношений.
«Родина дышит, Родина бьет, Родина из-за своей больной ревности наносит мне шрамы и царапает ветками лицо,
..а я люблю Родину».

Олеся Николаева

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА РФ.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК БЫЛ ОХОТНИК

ИВАН ТРОФИМЕННО
Родился в 1995 году в г. Белгороде, служил в армии в Южной Осетии и Дагестане в 2016–2017 годах, студент Литинститута (семинар Олеси Николаевой), публиковался в «Литературной газете» и журнале «Незнание».

* * *

...знаете, я учился в кадетской школе, и наш офицер заставлял нас есть сигареты, если видел, что мы курим. мы прочекали эту фишку и начали засовывать в сигареты нормальную еду. однажды он спалил, что мы закидываемся насваем, заставил сожрать его и бегать по спортплощадке, из-за этого круга блевотины вокруг было такое ощущение, что мы демонов изгоняем. спасибо, приятного вечера!!!

———

что ж, это был ваня шупляков, у него, кстати, есть брат леша, он тоже занимается комедией, и я раньше не знал, как зовут ваню, и просто называл его маленький леша. а следующий стендап-комик – это маленький саша малой, только как будто их в детстве разъединили и одного кормили грудью, а другого спайсом.

встречайте, предпоследний комик на сегодня – ваня трембель!

———

добрый вечер, добрый вечер, здравствуйте! знаете, есть такая песня «преданней собаки, ласковей собаки, веселей собаки нету существа»? вот я всегда думал, что это призыв, то есть «веселей, собаки! нету существа!» понимаете, было какое-то абстрактное существо, а теперь его нет, и собакам надо радоваться из-за этого, веселиться. я живу в общежитии, и однажды мне помогла девочка с контрольной, я подарил ей шоколадку, а девочка с украины, и она приходит ко мне в комнату и говорит: «вот все вы русские такие», я отвечаю: «что случилось?». – вот все только и хотите показать свое надуманное превосходство. я опять ничего не понимаю, а она протягивает мне шоколадку, и на ней написано «россия – щедрая душа». в моей комнате случился пожар, загорелся матрас, это чистая правда. я подбежал к комнате бывшей девушки, чтобы попросить тазик – и думаю, вот сейчас попрошу, потом слово за слово и начнем опять общаться, потом сойдемся, а кому это надо? – нет.. как вы понимаете, матрас в моей комнате сгорел. вообще сложно жить в общежитии – постоянно встречаешь своих бывших, ездишь с ними в лифте, готовишь на кухне, а их с каждым месяцем все больше и больше, не понимаешь, с кем здороваться, с кем не здороваться, кто-то задевает твои чувства, чьи-то чувства задеваешь ты. но самый большой и сладостный мой мазохизм – это заходить к бывшему бывшей за каким-нибудь абстрактным шуроповертом в такую мальчишескую комнату, наполненную запахом убранной фуры дальнобойщика (с ароматизированными елочками, как полагается), следовавшего по маршруту челябинск – стерлитамак, и представлять, как мою веретеницу имеют в этих декорациях.

не смешно, да? это, наверное, не смешно, это отстой.

смешно – это когда ученик убивает своего учителя по географии из дробовика, а на его страничку вконтакте присылают подарок «вам ружье». смешно – это когда мать погибшей дочери, не доучившейся до выпускного три недели, просит школу выдать ее аттестат, а вы такие «зачем же аттестат трупу?», ну так отдайте ее аттестат, что в этом сложного? потому что мама знает, что ее ребенок ходил сюда, общался с этими одноклассниками, что ее дочь здесь существовала, что она была, и эта бумажка просто будет стоять, будет напоминать о близком и когда-то живом человеке, зачем над этим смеяться? но нет, вы же *молодые, смешливые*. вам же смешно на ютубе, когда падает гроб в яму и появляется котик, играющий на синтезаторе, вам же смешно, когда обезумевшая шваль убивает шестерых людей в центре города, вы же только и можете, что смеяться, а я вам скажу, *товарищ солдат*, что ваше поколение – это поколение обсосов, маменькиных сынков. *что улыбаешься? дурачком растешь.* ты свое мнение засунь себе в твиттер, поступки показывают, какой из тебя мужчина, а вас в наряды ставишь – и вы ноете сразу, болеете. фляжки пустые носите, я бы вас за эти фляжки по почкам так бил, чтоб у вас из уретры только кровь капала. вы же как муравьи смартфоны в очке проносите, сколько их не отбирай, так ты и напиши в своем интернете «тухчар» и посмотри, как твоих же ровесников, пацанов, раньше резали и они стойко это переносили, а у вас один другого поцапал чуть-чуть – все, надо мамке звонить, чтобы она – в комитет солдатских матерей – в москву – там красная трубка – потом в ростове – красная трубка – потом у компол-ка – красная трубка, а у вас, *товарищ боец*, здесь не детский сад, а армия. и мы все здесь для того, чтобы умереть под сопкой за маму, бабушку, сестру и всех, кого мы защищаем.

минометная батарея, подъем!
тревога! тревога! тревога!
первый взвод, строиться для получения оружия!

* * *

мне 5 лет. муж моей тети бьет моего папу, он падает на диван.

———

я в распределительном пункте, папа звонит мне в десять вечера, после отбоя, говорит, что они узнали в интернете, что воинская часть 66431 не северная осетия, а южная осетия, цхинвал, говорит, что мама плачет, мама берет телефон, рыдающим голосом говорит, что это страшно, что это далеко, просит как-нибудь отказаться, попроситься в другое место.

но я помню, я отчетливо помню, что мне 5 лет и муж моей тети бьет моего папу, он падает на диван, бабушка уводит меня и двоюродного брата в соседнюю комнату, чтобы мы не видели драки, брат (он старше меня на два года) возвращается обратно и говорит мне, что он взрослый и может смотреть драку (да и к тому же его папа ударил моего сначала, а не наоборот).

.....

всем отрядом в новенькой каэмбэшной форме мы погрузились на поезд в ростове-на-дону. бабушки и дедушки удивляются с того, какие мы молодцы. они всегда так удивляются, когда видят школьников, идущих на агитбригаду, девочек, получающих цветы от своих бойчиков, догадываюсь, что двадцатилетние парни, отбывающие на службу, вызывают у них больше энтузиазма. бабушки едят курочку, женщина выменивает у нас гуляш из сухпайка, дедушки играют в шахматы.

– куда едете, сынки?
– южная осетия, цхинвал.

..мгновенная тишина, женщина перестала жевать гуляш, деды отставили шахматы, бабули убрали курочку, и кто-то перекрестился, все смотрят на нас..

сколько за чай, теть? – нет, нисколько, бесплатно, ребят.

классно, теперь проводница думает, что это наш последний в жизни чай из алюминиевого подстаканника. мы принесли в этот поезд новогоднее настроение с поправкой, что это новый год 1995-го, а завтра как будто бы нас ждет моздок и затем чечня.

.....

папа, мне жаль, что я причиняю тебе так много проблем, я встретил в поезде в ростове проводницу с нашей фамилией. папа, мне жаль, я не могу жениться в 20 лет и жить в квартире, которую вы с мамой мне приготовили, я не могу сделать для вас внучат так рано, записывать их в детский садик и забирать с секции плавания. мне жалко, что моя больная амбициозность каждый раз выбрасывает меня, как котенка в речку, но я своими маленькими лапками буду барахтаться-барахтаться, но доплыву до ила и берега на той стороне кошачьего рая, потому что я помню прекрасно, как мне 5 лет и муж моей тети бьет тебя, а ты падаешь на диван.

* * *

«Если ты посмотришь аниме “Ангелы смерти”, то навсегда забудешь о девушках». Передо мной

сморщенный девственник-анимешник, здоровенный детина из Твери, похожий на Губку Спанч-Боба, едет во Владикавказ, чтобы комиссоваться по психологическому заболеванию «расстройство адаптации». Что такое «расстройство адаптации»? Это когда призывник пугается мужского коллектива, жалуется на недостаток просмотра сериалов, не может наедаться чипсами до оранжевой обводки вокруг рта и выбирает вместо службы полгода унижений, психологов и уборок санузла в медицинской роте. Что я делаю с ним в одной машине? На вопрос в психологическом тесте «Задумываетесь ли вы о смерти?» я ответил «да». Потом был еще один тест, и я опять ответил «да». На третий тест я тоже ответил «да», хотя было уже ясно, что солдат российской армии в Богом хранимой (де-факто), но не всеми признанной (де-юре) родной (побратимой) земле южноосетинской ни в коем случае не может задуматься о том, что все тщетно, что все эти люди в вечнозеленой форме на плацу, гражданские повара, красивые дочери и резвые сыновья офицеров из солдатского городка когда-нибудь умрут, что и призывники тоже умрут. И если воинская часть не зарастет мхом, под марш славянки бодро и весело пойдут в столовую новые поколения бойцов с неизвестными отпечатками на лицах, но и они не должны задумываться о том, что, возможно (а скорее, наверняка), кто-то из тех, кто был здесь раньше, уже умер от своей или насильственной, несчастной смерти – такой мысли широкий простор для мечты и для жизни не предполагает.

Больные, жалкие, робкие, мы катимся по горам и горкам сияющей ветреной Осетии, нам тревожно и взволнованно от видов земли, которую мы должны защищать.

Мы въезжаем в психологическое отделение владикавказского госпиталя. И только здесь становится нелепо наблюдать за тем, как наша розовая (такая же, как и в Сирии) военная форма висит на прибывших нас и на уже обосновавшихся здесь глупых, трусливых, обросших, но гордых своим положением психов-срочников со всего Кавказа, слоняющихся по двору и сбивающих мелкие яблоки в уголке тихого рая, решившихся прийти в военкомат, но не сумевших удержаться в строю до конца мальчиков. Это похоже на фильм «Пролетая над гнездом кукушки» в ремейке русского энтэвэшного режиссера. Если говорить о потере маскулинности, то происходит она именно в таких местах. Мне смешно и печально. Моя очередь идти к психологу, я смеюсь.

– Ну и что же вы здесь делаете, Иван?

Я и сам не знаю, что здесь делаю.

– Жалобы есть?

– Жалоб нет.

На обратной дороге ласковое солнце греет уши, и земля, которую, бесспорно, надо защищать, кидает нашу колымагу из стороны в сторону по серпантину. Я чувствую, что вступаю в крепкие нездоровые абьюзивные отношения с Родиной, и это не только драки в каптерках и сгущенка в сушилках после отбоя. *влюбись в щечки студентки театрального факультета из мурманска, поясни за прическу пацанам на адиках возле турников, плачь и кричи на родителей после последнего звонка, стой как дурак и цепляйся за светофоры на мигающем желтом, потому что это твое. и частное, и общее.*

Родина дышит, Родина бьет, Родина из-за своей больной ревности наносит мне шрамы и царапает ветками лицо,

..а я люблю Родину.

* * *

цель сто первая. пехота укрытая. осколочно-фугасными. одну мину. залпом. триста. тридцать. три.

на диких отходосах в подмосковье мы играли в бирпонг со стаканчиками розового вина, чтобы заснуть.

я был с сашей в одной команде, и она смеялась, когда я вставлял артиллерийские выпады в неуклюжие метания шарика, когда я ей объяснял, что цель сто первая, это не потому, что было сто целей до, а для того, чтобы не сбиться с очередностью и верно расслышать команду, триста тридцать три – такая же тема, чтобы заранее приготовиться к атаке залпом, зачем же минометному расчету знать, какая пехота притаилась – укрытая или нет (да и чем она может там укрываться, кроме грязи и дерьма) – мне не совсем понятно до сих пор.

маи – это я, маи – это мы, маи – это лучшие люди страны, маи – это не только институт на северозападе москвы, маи – это гоша и тоша, случайно найденные закладки с колесами, дико прогрессирующее поколение, билеты на afp (как казантип, но с инстаграмом), соня, надя, ее парень, который играет вичхаус, несколько дорожек на день рождения, убер до метро и вербование в компанию людей, который так или иначе являются *curiosity*: будущие депутаты (сыновья депутатов настоящих), операторы с тнт, pr-менеджеры, девочка-поэт (саша, много не пей) и мальчик-поэт (вань, ну мы решили, ты, короче, можешь не скидываться).

как это бывает на подобных культурных молодежных мероприятиях, мы засыпаем под одним одеялом с сашей, классический отточенный сценарий: полчаса притворяемся спящими, как бы случайно моя рука падает ей на плечо, она урчит в придуманном сне, но ждет продолжения, потом рука доходит до ее животика и оказывается под футболкой, шепот, робкое дыхание, перегар, мы прижимаемся ближе, мои губы оказываются на ее плече, нарушаем свой несуществующий сон, и, между нами первый, запоминающийся, поцелуй, дальше все всё прекрасно знают, ибо этот сценарий давно уже из разряда must read.

цель сто вторая. саша, укрытая со мной одним одеялом. осколочно-фугасными. одну мину. но нет. но нет.

на следующий день мы идем в кино: ей 17 лет, она только-только окончила школу и успела поработать вебкам-моделью. а это значит, что пошлое пятно отношений нашего поколения – интим-фотографии – она освоила, как прилежная ученица.

господи, я слишком сильно просил вселенную, плача с ак-74 в руках, засыпая на снегу и докладывая о своей боевой готовности каждые 15 минут оператору караула, влюбиться и быть понятым, что не хочу верить в происходящее.

я не думал, что так будет, когда собирался восстанавливаться в литературный институт и лежал на шконке в дагестанской казарме, выплюнув насвай и перебирая анкеты вк своих будущих однокурсниц. я думал, что буду встречаться с какой-нибудь юлей тургеневой, настей куприной, генриеттой краузе. вообще, в каком отделе просрочки круглосуточного магазина магнолия они выбирают эти имена и фамилии? и как я их должен удивить?

– привет, я генриетта краузе.
– привет, а я герман, твою мать, ницше.

или кого я должен был найти среди пяти курсов, пяти категорий института, являющегося самим по себе квинтэссенцией заблудших невротиков.

пятый курс – поколение опоздавших к свэгу, первые одногодки, уже знавшие слово «селфи» на школьном выпускном, помнящие камеди клаб (где у всех были прически, как у димы билана), но не знающие английский на уровне современных девятиклассников. отличники и хорошисты школы, в которой еще не было принято вытаскивать свои права. от того и плывущие крайне неумело. жгучее непонимание во взгляде.

четвертый – это полуконченые маргиналы и конченые псевдоинтеллектуалы, просветленные снобы, закидывающиеся тремя марками лсд, временами в полуголом виде бегая до умывальника и издавая божественные звуки своего величия.

третий курс – это полусладкие полутепленькие мальчики и девочки с каре, выглядящие так, словно их зачали на китай-городе, а их прирожденное место обитания – это рюмочная «зинзивер» возле ямы на чистых прудах или антикафе «циферблат» на тверской, а привычная деятельность – это собираться своим милым кружком на 4-м этаже, называть друг друга богинями, обсуждать феминизм и готовить вегетарианскую еду, спать под феназепамом, успокаиваться под атараксом, трахаться под мдма, готовиться к сессии под амфетамином, а потом ходить к психологам и удивляться: что-то у меня стресс, тревожность и апатия, наверное, у меня врожденный недостаток выработки серотонина, да, доктор?

второй курс – активисты до дырочек. у них такая прыть устраивать общеинститутские мероприятия и дискотеки, словно каждому из них родители говорили в детстве: «у тебя никогда в жизни не будет дискотек». столько энергии вечно что-то организовывать, как будто каждый из них в школе был изгоем, избитым и оплеванным за гаражами и в обоссанных туалетах настолько часто, что теперь эта радужная энергия выходит в новую матрицу, которая позволяет чувствовать себя кому-то нужным и руководить коллективными аккаунтами в инстаграме.

первый курс – профессора мемологии, выросшие со смартфонами под подушкой, считающие, что отличают мета-, пост- и постпостиронию, сами же ярые представители репостмодернизма с мигающими глазками, слабенькими ручками и неуверенными голосками.

и что надо делать? пробираться ночью из одной комнаты в другую, выжидать соседей и соседок? «только никому не рассказывай, это между нами» (конечно не расскажу, ты сама всем все расскажешь, еще и выложишь фотографию, где я без футболки сплю на твоей кровати), ибо секс в общежитии института девочек с низкой самооценкой и мальчиков с полупокерскими замашками строится на двух незыблемых столпах и имя им: контрацепция и конфиденциальность.

саша, спасибо тебе, что ты подготовила меня перед тем, как впасть в разврат и находить на каждом этаже по девочке для отношений «джаст фо фан». но, саш, какого черта мы расстались? какого черта ты забыла про своего мальчика-поэта, пошла на свой конченый андерклауд в конченый паверхаус и встретила бывшего. какого черта сообщения «я

тебя люблю» и пустые кинозалы с красными сиденьями ушли в никуда?

я удаляю все эти интим-фоточки после расставания, но твои, саш (и тут дело не в тебе, а во вселенной, которая свела меня с тобой), я храню до сих пор. смотрю на них в момент, когда мне грустно, пусто и одиноко, наливаю стакан водки и пью. залпом. *триста. тридцать. три*

* * *

Почти что дед – серьезный дядя!
Я сквозь девятый месяц глядя, –
Солдаты любят:

спать в наряде.
Вполглаза, клятву не нарушив;
Кирпичную кабинку душа;
Солдаты любят много кушать,

А также выпить, между прочим;
При свете дня во мраке ночи
солдаты любят сбегать в С.О.Ч.и
...
Но многим больше, без прикола
До дедовщины, произвола
Солдаты любят *Coca-Cola!*

Александр Савицких

Что это было?

Первое восхищение образом жизни человека, который делает стихи, свободный микрофон и первое прочтение на людях. Потом яркий и оправданный образ поэта в армии и мысль о том, что можно туда все же сходить.

Что было потом?

Я выхожу из поезда с красно-черным флагом артиллерии. Меня встречают мама, одноклассники и Саня. Мы с Саней пьем коньяк во дворе и читаем стихи, свои и не свои, людям, спешащим на работу. Потом я уезжаю-возвращаюсь-уезжаю-возвращаюсь и узнаю, что Саня кладмен, Саня сидит в тюрьме за распространение наркотиков.

Что теперь, Сань?

Голос твоей плачущей мамы в трубке, письма с *кладбищенским запахом*, показательный футбольный матч с Кокориным и Мамаевым, который ты смотришь за проволокой в твоей колонии, киношное стекло в комнате для краткосрочных свиданий, два слабо работающих телефона и натянутая улыбка, поминальное настроение, потому что, как ты сказал, *если человек сел в тюрьму – он умер*.

Какого черта, Сань? Тебе мало было этих грантов с Тавриды? Какая соль? Какие веса? Я не хочу, чтоб ты умирал.

Ты должен был лежать на травке на каком-нибудь бардовско-поэтическом фестивале, кататься по городам и здороваться классическим «ну шо ты», спать в нарядах хотя бы вполглаза, а не на полу во время тюремных рабочек или в холодных штрафных изоляторах.

Но ты такой же солдат прозрачной надежды, как и я. Суд отклоняет твое прошение о досрочном, потому что ты уже *досрочно мертв*. Поэтому я снова прикинусь твоим двоюродным братом на краткосрочном свидании и передам тебе среди сгущенки, чая и сигарет эту конченую кока-колу.

Солдаты же любят кока-колу, правда?

* * *

в каждом языке есть сложно переводимые слова или особенности, которые так или иначе отражают их носителей. как перевести ‘soulmate’ – приятель, родственная душа? можно, но это не то, как и испанское слово ‘saudade’ (что-то сродни меланхолии, тоска по ушедшему, глубоко вошедшая в национальное сознание), в россии нет саудаде – есть грусть, паника, березы и ипотека. есть мерзкое чувство, которое ощущается, когда идешь и скользишь темным утром по замерзшей грязи, отогреваешь руки, падаешь в офисное кресло и смотришь на картинку с далекими и прекрасными островами карибского моря, но саудаде нет. все народы дагестана знают слово – ‘саул’ – это как спасибо. но если ты говоришь во дворах ‘спасибо’, то значит, ты пидор. а ‘саул’ – это душевно, ‘саул’ – это по понятиям. ‘саул’ – свист высокогорно честолюбивого кавказа и высыпания насвая из зиплока на берегу каспийского моря. в русском языке есть слово ‘борзость’, но это не агрессия, ‘борзость’ – это мороз, красные уши, пар изо рта и кровь на снегу после школьной драки за гаражами. также в русском языке есть магические ‘они’, которые решают за нас самые важные дела. дед коля из полноводной карелии не скажет: «пьяный на лодке катался, чуть не утонул, был *спасен и вытащен*». он скажет: «чуть не захлебнулся пьяным, но *спасли, вытащили*». кто вытащил, кто спас? дед коля не уточняет, да это и не важно. никто не *будет забран* в армию, в последний путь никто не *будет проведен*. в эти институции людей *забирают* и *провожают*. кто? бог? люди добрые? министр обороны шойгу? это нам не будет известно никогда. вернее, это нам известно с рождения, но

ровно настолько, чтобы понимать существование сил, проявляющихся в 3-м лице неопределенных глаголов множественного числа, на уровне подсознания русской обшарпанной (как подъезд) жизни, но не подвергать их сомнению на письме.

а в осетинском языке есть слово ‘ома’, которое является и междометием, и приветствием, и положительным ответом. если осетин в хорошем настроении, то в разговоре ‘ома’ резко меняется на ‘ома, брат!’, в самом этом слове уже заложена вальяжная лень, северокавказская хакуна-матата, гостеприимство и запах осетинского пирога с сыром.

все шесть наших «уралов» (грузовые авто под перевоз миномета) взведены, и мы несемся по январским улицам цхинвала среди заснеженных гор в боевой готовности. но из-за армейского единоначалия мы не совсем понимаем, что должны делать, куда ехать, когда нас покормят и где будем сегодня спать. сначала нужно выполнить приказ – а потом можешь его обжаловать. ну а что значит «обжаловать приказ»? ты нормальный пацан или че? уставщину хочешь? так и получишь, ее, товарищ боец. в залупу полезешь, да? ну вот ромчик у нас уролог, пусть этим и занимается, а ты, трос, таким не страдай.

почему трос? не совсем ясно, как так сложилось. но никто не знает мое настоящее имя, его может знать только писарь (этакий канцеляр для документации), но писарем здесь являюсь я. от троса появились производные: тросницкий, тросниковый, трос-матроскин, тросименко и (мое любимое) тросимирон. от капитана прилетела постоянная присказка: трос-сволочь.

слева от дороги в столб врезался такой же «урал», за рулем которого сидит ома-брат. ома! но так он контрактник и осетин, ему это позволительно, ему врожденно лучше других понятно состояние «ома»: брат по-братски по-брательчески как братишка, в столб врезался, я того мир шатал! реши вопрос, а, договоримся, пироги – не пироги, тауки – не тауки, ома, брат!

если даже контрактников в этот зимний день вывели на улицы сносить столбы столицы прекрасной южной осетии, то это слишком серьезная учебная тревога.

мы приезжаем на гору и выгружаемся, расставляем минометы по позициям. я полугодичник. полугодичники руководят слониками (не отслужившими еще полгода). у нас нет дедовщины: за вымогание денег или за синяк на теле слоника военная прокуратура сожрет нас с дерьмом. но есть наставничество. это когда слоники, как слепые котята, ходят по казарме и чаруются военным бытом, и надо их собирать на выезд, как детей в детский садик: так, смотри, кирилл, вот чистишь берцы, вот берешь противогаз, сюда просовываешь одну ручку, потом другую, ох, какой молодец, да, берешь автомат, прикрепляешь патронник, каску надеваешь, давай, надевай каску, даун, ох, какой воин, хищник, какой ты у нас большой теперь! самостоятельный!

и нужно еще отвечать на их дебильные вопросы:

– трос, а почему на меня старшина кричит? а он может не кричать? мне просто не по себе, когда он кричит, я не могу, когда на меня кричат.
– трос, а я вот сидел долго, а потом встал, и у меня закружилось все в глазах, я болен, наверное, может, меня в больницу отведешь или к психологу? может, меня надо домой отправить?
– трос, а как вы носки стираете, если у вас вода только холодная?

уже темнеет. и в этом армейском единоначалии есть тесная связь с русскими загадочными ‘они’. потому что мы сидим здесь, пока *не скажут*. кто скажет? сержант – старлей – капитан батареи – командир батальона – комполка – начальник армии. в каком звене этот испорченный телефон поломался, и о том, что у личного состава должен быть завтрак-обед-ужин, а не только завтрак, немножечко забыли? или же эти приказы просто идут не от конкретных людей, а просто от кого-то свыше? как древние племена ямальцев или ненцев слушали, что посоветует их старейшине священная кошка.

в моем расчете три слоника, и они весело строят снежные укрытия миномета и играют в снежки (чувствую себя воспитателем детсада), а я работаю с документацией всегда, а сплю либо стоя, либо сидя, либо 3 часа, либо 2 часа в карауле, каждые 15 минут докладывая о дежурстве, поэтому на снегу я готов спать с удовольствием. падаю на снег, и слоники укрывают меня тремя спальниками. господи, как это мило, я не был в детском лагере, но мне кажется, там должно происходить что-то подобное: дружба, взаимопонимание, любовь, минометы, ома-братья.

я просыпаюсь через 3 часа, потому что не чувствую пальцев. Продрогший, пытаюсь свернуть свой шалаш, найти своих детишек и согреться. прохожу триста метров и вижу: как в школьной столовой собираются изгои со всех классов за дальним столиком и едят хлеб, так сейчас слоники с нескольких расчетов собрались в кучку, расстелили два спальника и спят на них, совсем ничем не укрывшись.

что есть снежинка? одинокая тайна чернильной ночи, гонимая вальсом ветров. то медленно, то быстро кружась, эта слеза ангела падает на младен-

ческое лицо призывника кирилла и через мгновение растворяется, становясь его слезой. я пребываю в блаженном оцепенении, наблюдая эту гармонию единения природы с человеком. неповторимые крошечные отпечатки мороза ложатся и исчезают в незыблемых лицах наших слоников, стоически проживающих свои судьбы.

– вы коллективно упоролись или как?

пришлось нарушить тихий час. из всех шести «уралов» не забитый битком остался как раз таки один. усаживаю своих малышей на заднее сиденье и падаю сверху. руки болят от холода, но эта приятная боль, и хорошо, что я могу ее ощутить. закрываю глаза: снежинки протискиваются сквозь фары «уралов», осыпая сугроб вокруг кирилла, я с высоты падаю в этот сугроб, что значит – я сплю и я все-таки расту.

минометная батарея, подъем! строиться!

еще темно. зачем нам построение среди ночи?
– пацаны, кто строит?
– капитан.

капитан – это самое ненавистное и главенствующее звено нашей батареи, да и к тому же он убежден, что абсолютно все недуги человечества можно вылечить путем насильственного анального вмешательства.

он начинает: становись! равняйсь! смирно! вольно. вы должны преодолевать стойко и, мать вашу, мужественно все тяготы и лишения службы, как написано в уставе, вы же учили его, аморфы навозные. так вот, и вы уже молодцы (это что-то новое, он так не говорил никогда), что уже здесь. мужчина, настоящий мужик должен защищать свою землю. ваши же деды, прадеды воевали с немцами, сколько людей погибло, сколько семей без отцов осталось. но сейчас… время другое и враг сейчас другой – посмотрите вокруг, тут со всех сторон грузия. так вот, ваша боевая задача, сынки, сейчас – разбиться по расчетам, сорвать веток и укрыть все минометы и все «уралы», чтобы ни одна гадина его не заметила. да, будет еще много трудностей, будет тяжело. вас всех дома ждут мамы, но знайте, что мы мужчины и наш долг – *умереть под сопкой за маму, бабушку, сестру и всех, кого мы защищаем.* вы мои сыновья, и я горжусь вами!

но это край. это просто край. какие сынки, ты нормальный, дядь? какая грузия? стоп. то есть это война? то есть сейчас над нами будут пролетать бомбардировщики нато? или что? что это значит? это значит, что только в крайние моменты срочники участвуют в военных действиях и сейчас этот крайний момент. ладно, собрались, рассуждаем логически: в 2008 году здесь участвовали срочники, так сказал старлей, но их потом сразу отправили домой и заплатили еще деньги. какие деньги, какие, на хер, деньги. перед своим первым сексом я не так волновался, как сейчас. так, логика, едем дальше: погибло несколько псковских срочников на востоке украины, что-то не сложилось и их тоже туда отправили. есть рокский тоннель, силы из владикавказа могут прибыть через три часа, если все так серьезно. продержаться три часа. три часа. что вообще сейчас произошло? южная осетия хочет называться аланией, как и северная осетия с пояснением через тире, и ингушетия тоже хочет сменить название республики на «алания», и принадлежность к гордому народу аланов один из поводов их стычек. а грузия? грузия тоже хочет быть аланией или что? это челлендж такой: «назови свою республикой аланией»? я не знаю, надо посмотреть в интернете. в каком, к бабушкиной матери, интернете. нас же сейчас здесь разнесут как сопли.

да какая войнушка, у нас нет прицелов для минометов даже, это просто удары в молоко, мы мишени. батальонный врач устанет делать перевязки. я помню, когда его нам представляли: лейтенант ахметьев. тридцать четыре года. женат. двое детей. я еще подумал: зачем нам эта информация. зачем голодным солдатам знать его семейное положение, это же не тиндер. какой, мать его, тиндер?

если что-то с нами здесь случится – комитет солдатских матерей тут всех задавит. и про нас будут говорить. их *убили* в горах (магические ‘они’), *убили* кирилла, *убили* всех моих слоников и *убили* меня. саня савицких, если еще не снюхался, издаст посмертный сборник моих стихов и устроит мой вечер в вонючей библиотеке под эгидой союза писателей. мама будет много плакать.

но я же здесь не умирать. я здесь потому, что мне стыдно признать свою жизнь и я не знал, куда еще деваться. я здесь, чтобы оправдать унижения и плевки от старшеклассников в спортзале, чтобы оправдать чернокожую проститутку за 2500 в районе станции метро дмитровская, проститутку-узбечку за 1500 в районе станции метро савеловская. чтобы петь «артиллерия – боевая наша жизнь! ах ты, кудрявая, в знак доверия артиллеристу улыбнись!», но если меня *убьют*, то никто не *улыбнется*. уберите свой значок гвардейца, уберите черный

крест за службу на кавказе, верните меня в спортзал к старшеклассникам, верните меня к проституткам!

идет валентин, мой товарищ, надо показать, что я боец, что я готов и к смерти и к войне. надо вести себя стойко!

– я не хочу умирать.
– ты че, упоролся?
– в смысле, это война?
– трос, ты придурок. у нас тут уже полбатареи суицидников собралось, ребят, что с вами?
– ну, а капитан же сказал…
– капитан просто выпил водки со старшиной, и ему почему-то стыдно стало за то, что мы без обеда и ужина, он плакал даже, сейчас пьяный спит. а, ну и эта тревога серьезная, и нужно утром сделать фотографии нашей замаскированной техники. и сухпайки подвезли.
– какие сухпайки, какие фотографии, на нас никто не нападает?
– я сейчас на твое очко нападу, если ты еще что-то такое спросишь. вот, возьми сухпаек для своего расчета, есть пятый – это с гречкой, и шестой – это с рисом. тебе какой?

…

– с рисом.

* * *

иван сергеевич тургенев в заключительной записке охотника описывал состояние вылазки, когда вспоминаешь лица, живые, мертвые, события, с тобой произошедшие, становится радостно, и погружаешься в свой особый мир, лишь по инерции продолжая шагать на охоту по лесным тропкам. ведь мы тоже охотники до своих осколков памяти, солдаты прозрачной надежды. нам тоже радостно. нам тоже печально.

и армия нам нужна.

чтобы мальчики мастурбировали в коробочки от сока и оставляли их в БТР, чтобы засыпали в полигонной палатке и не просыпались от холода, чтобы случайно умирали при транспортировке техники, чтобы их насиловали, а потом находили предсмертные записки, чтобы комиссовали по «расстройству личности» за однополый секс на боевом дежурстве, чтобы судили за экстремизм из-за песен тимура мацураева на страничке вк, чтобы улыбались и росли дурачками, чтобы не помнили, как папу бил муж тети, чтобы вытирали кровь маминым платочком, забывали позорных проституток и издевки в школе, чтобы возвращались и восстанавливались в институт, ходили по коридорам общаг и кричали друг другу в шутку «рядовой сучихин на выход» – потому что это уже пережито, потому что это рукопожатие с понимающим взглядом в глазах и тайной, которая познается только здесь; кричали песни про артиллерию, пили, ненавидели и любили. потому что охота не скончается. потому что это *и частное, и общее*.

потому что я погряз в нездоровых абьюзивных отношениях с Родиной и не поможет ни один психолог, ни один психоневрологический диспансер, ни атаракс три раза в день после еды и мелаксен перед сном, ведь я влюблен в этих девочек, влюблен в щечки студентки театрального факультета из мурманска, в дворовые адики, государственные гротескные праздники с гимном нашей страны, которую (бесспорно) надо защищать, в колючие просторы и светофоры на мигающем желтом.

Родина дышит, Родина бьет, Родина из-за своей больной ревности наносит мне шрамы и царапает ветками лицо,

..а я люблю Родину.

ДВЕ МИНУТЫ

РАССКАЗ

ЕКАТЕРИНА ПЕТРИНОВА
Окончила магистратуру филологического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби (г. Алма-Ата) в 2008 году. Работает литературным редактором, репетитором русского и английского языков, копирайтером, переводчиком. Принимала участие в семинарах Михаила Бахнова, Валерия Воскобойникова, Марины Бородицкой, Галины Юзефович. Участник лаборатории литературного перевода и Открытой литературной школы (г. Алма-Ата). Принимала участие в 19-м Международном форуме молодых писателей России и стран СНГ в Ульяновске (2019).

Над ними простиралось небо, огромное, иссиня-черное, в многочисленных огоньках, словно космический шаттл. Дэн прищурился: он был близорук и без очков плохо отличал огни станции от звезд.

– Убрать инфраструктуру, – сказал он.

Небо изменилось. Половина огоньков исчезла, небесный свод изогнулся куполом и посветлел. Дэн обернулся. Взошла луна – бело-желтая, с точечками кратеров и прожилками каньонов, она мягко сияла над зубчатыми верхушками хвойного леса, серебрилась на пригорках, поросших то ли кустарником, то ли небольшими деревьями.

Где-то рядом было море – дул бриз, нежно щекоча кожу и заставляя передергивать плечами. Воздух принес беспричинную радость, энергия словно потекла по венам, захотелось бегать, прыгать и смеяться.

– Супер! Ну, как тебе это нравится? Здесь можно ходить. – В подтверждение своим словам Дэн сделал несколько шагов.

Земля была твердая, как камень, – должно быть, они и в самом деле стояли на скале.

Его спутник, сухой жилистый старик, молчал. Дэн вздохнул и начал изучать местность сам, делая аудиозаметки:

– Вижу амсонию табернемонтана, Северная Америка – есть, адиантум педатум, папоротник – есть, арункус вулгарис, волжанка, ага, лунария рединива… Стоп! Дамочка, – наклонился он над растением с россыпью бледно-фиолетовых мелких цветков, – вы должны быть в другом месте. – Лунник растворился в воздухе, и на его месте образовалась подходящая замена.

Дэн выпрямился, победно посмотрел в сторону старика (это был его дед) и затараторил:

– Дед, деда, смотри! Я не пропускаю ни одной мелочи. Слежу за всем, абсолютно, даже за составом воздуха, воды и флоры. Смотри! Турист скажет: трава и трава. А я знаю, что она не растет там, где мы сейчас находимся. – И он ткнул наугад в кустарники. – Видишь? Ну, как?

Он ожидал похвалы. В конце концов, он же старался.

– Деда, ну ты же здесь был? Я хотел, чтоб это было по твоим воспоминаниям. Все облако перерыл, сопоставил фон на всех фотографиях того времени, но! Знаешь, что самое интересное?

Дед улыбнулся и кивнул.

– Все, что ты видишь, – база. Потому что это, ну, частично и мое восприятие. Я сделал по фотографиям и по данным климатологов. Но ты можешь создать реальность при помощи собственных нейронов. Звук, запах, цвет, ощущения… – Парень вздохнул и добавил: – Деда, ну я просто хотел написать свою дипломную так, чтобы она и тебе принесла радость.

Старик осторожно погладил внука по плечу. Тот с надеждой спросил:

– Хочешь сам? – Не дожидаясь ответа, дал команду: – Передача управления.

Все исчезло: горы, ночная прохлада, луна. В глаза ударил солнечный свет. В горле запершило от перемен в атмосфере – морской бриз сменился сухим, горячим воздухом, кожа моментально согрелась. Дэну показалось, что он чувствует, как в организме синтезируется меланин.

Они стояли в каком-то захудалом дворике, окруженном трехэтажными обшарпанными домами. Со скудно обустроенной детской площадки, блестящей на солнце нагретым металлом, доносились возня и крики малышей. Старик подошел к скамейке под большим раскидистым деревом, сел.

Дэн недоуменно оглянулся.

– Дед… Это что? Наверное, сбой программы? – И начал щелкать по кнопкам панели, вылезшей из наручного управления. – Погоди. Программа должна вытащить самые счастливые воспоминания. Как то, где мы были – шикарная природа, уединение, чистый воздух. А не это… Я имею в виду, на что здесь смотреть? Это где вообще? – Он, прищурившись, пригляделся к ближайшему дереву: испещренный морщинами ствол, зазубренные небольшие листья. – Это… Это… Вяз.

Дед не ответил. Он улыбался и, закрыв глаза, слушал. От улыбки морщин на его лице стало еще больше.

Расстроенный, Дэн сел рядом.

– Деда, я так спешил. Вот это мой дипломный проект, понимаешь? – зачем-то повторил он еще раз. – Врачи говорят, что твое сердце, что тело… Я хотел, чтобы напоследок ты забыл о том, что не можешь ходить. Чтобы пошел по воспоминаниям, по самым счастливым, куда угодно. И показал мне их, а я бы запомнил. А это… Не знаю что… И времени у нас осталось… Две минуты.

– Красиво здесь, – впервые подал голос старик.

Его внук подпрыгнул.

– Работает! Деда, работает! Смотри, ты говоришь! С тобой вчера все попрощались, остался я. Хотел подарить тебе… Вот это… Ну, не это… А что-нибудь красивое. Фьорды, Аляску, северное сияние… Лес рядом с нашим домом… Что угодно, что бы ты захотел.

– Спасибо. – Дед осторожно поднял руку и снова погладил Дэна – по голове.

Минуты потекли, а они сидели, слушали, молчали. Издалека запикал прибор.

– Конец программы.

Все исчезло. Шелест вяза, детские крики и жара сменились шумом и запахом больницы, которые, видимо, не меняются столетиями. Дэн снял шлем, отцепил паутину сенсорных датчиков с себя, потом с неподвижно лежащего на кровати деда.

Расстроенный, парень покачал головой:

– Наверное, ты не помнишь. Папа сказал, вы были счастливы на отдыхе в лесах. А говорить ты можешь только там, в программе. Она же нейронная. Но я рад, что мы прогулялись.

В палату забежали нянечки, медсестры, врач. Все как обычно в таких случаях. Стало очень беспокойно и суетливо. Кто-то из старших родственников, наверное, отец или дядя, разговаривал с врачом.

Дэн нашел укромное место в дальнем коридорчике. Надел шлем снова.

Вернулся в знойный полдень, на скамейку под вязом. Неожиданно вспомнил, что дед называл это дерево карагачом. Прислушался – ничего примечательного. Дед сидел, закрыв глаза, – и Дэн сделал то же самое. Потекла минута… Вторая. Он почувствовал: жар от песка, прогревающий ступни сквозь подошву кроссовок; от едва ощутимого дуновения ветра – щекочущие прикосновения острых листочков. Запах чьей-то выпечки – и как он не заметил этого раньше? Топот детских ножек…

Чувства обострились и стали полнее. Где-то сзади, с площадки, как эхо, раздался звонкий детский голос:

– Дед! Деда! Смотри!

БЕССОННИЦА

Кто-то пишет, что рассвет наступает, когда гаснут уличные фонари, но у нас в Алматы совсем не так, у нас две смены фонарщиков, одна укладывается спать рано, предварительно врубив фонари так, что они светят прямо мне в глаз – четвертый этаж, мы параллельны, – а другая заступает на работу, когда небо уже побелеет и из-за деревьев с мелкими еще листиками, кашицей, как называют это салатовое напыление на темных ветках, медленно выкатится золотисто-желтый круг солнца, и я знаю, что уже нет профессии фонарщиков, это архаизм, как прачка, например, прачечные есть, а прачек нету, фонари вон тоже стоят, а самих фонарщиков нет, ну и наступает новый день, и когда эти дурацкие фонари уже не светят в глаз, тогда я засыпаю, расстроенная, после бессонной ночи, потому что, во-первых, солнечный свет мягкий и от него не болит голова (лучше бы я спала!), а во-вторых, я себе клятвенно обещаю одну великую вещь, что сегодня я посплю, а завтра из совы превращусь в жаворонка, потому что ну какой же у нас одуряющее прекрасный рассвет, после ночи, когда машин меньше, воздух чистый, и мы с кошкой выходим на балкон, у нее печальные большие глаза – не потому что она печальная, она та еще хулиганка и мошенница, а потому что ей так выгодно, ну или потому, что она такая родилась, с красивыми печальными глазами.

Мы выходим на балкон, она влезает на перила и ястребиным взором наблюдает, как взмывают в небо из-под крыши крупные сизые голуби, и я, стыдно сказать, начинаю думать, а можно ли, к примеру, наловить штук шесть этих птичек, ощипать и приготовить голубей с соусом по-венециански, ну что вы говорите, разве это я придумала – это знаменитый детектив Ниро Вульф, почитайте о нем у Рекса Стаута, это все его рецепты, а я просто стою, дышу почти чистым воздухом, и мысли мои, как скворцы на ветках деревьев, перепрыгивают одна на другую, я вспоминаю, что мы с мамой очень любили Ниро Вульфа и выискивали по книгам – а папа нам их купил целый ящик! – его рецепты, и однажды испекли вкуснейшую, но долгую (полчаса в четыре руки) яичницу в духовке с молодым картофелем и шампиньонами, пытались приготовить и что-то другое, но у Ниро Вульфа еда какая-то для небожителей – руанские соусы, пироги с устрицами, пирожные из каштанов, пока приготовишь, оголодаешь, еще и не поймешь ничего.

Припозднившиеся бегуны не подозревают, что я бормочу насмешливо им вслед, да откуда им знать, разве нормальный человек бежит по улице, высматривая, не глазеет ли кто на него с четвертого этажа, но на самом деле это бегунам надо смеяться надо мной, потому что они бегут,

Он бежал в своей не новой спортивной форме, в советской шапке «петушок», то появляясь под одним фонарем, то исчезая в темноте, пока не выныривал у другого, – три фонаря напротив моих окон вдоль проспекта, три раза туда, три раза обратно.

а я сейчас уйду спать, но смеюсь я не над ними, а над тем, что молодые и здоровые бегают намного позже одного старичка – я знаю по седой бороде и согбенной спине и по тому, что трусит он еще медленнее, чем я хожу, что это старик, – его я приметила еще с декабря, с того месяца, как меня накрыла ужасная, изнуряющая бессонница, и вот этот старичок всегда пробегает в одну сторону в пять утра, а обратно – в пять тридцать, и ни разу не пропустил, даже когда была зима и в утренней темноте под фонарями медленно падал хлопьями мягкий снег, он бежал в своей не новой спортивной форме, в советской шапке «петушок», то появляясь под одним фонарем, то исчезая в темноте, пока не выныривал у другого, – три фонаря напротив моих окон вдоль проспекта, три раза туда, три раза обратно.

Я пытаюсь перебороть себя и уговорить выйти на позднюю пробежку, но все мое существо, встретив рассвет, дождавшись, когда мигнут и погаснут фонари, когда пробегут и пройдут все те же утренние люди, вдруг делает гигантское усилие и разворачивает перед моим воспаленным сознанием план: поспать, встать, сделать зарядку и полезный завтрак, вытащить себя на улицу, выучить новые слова, выполнить норму по работе, прочитать книгу из списка, сделать первое, пятое, десятое, найти точку опоры и придумать, как жить, но вначале, конечно, спать, это однозначно, засыпать и чувствовать, как новый день врывается в широкие окна, как кошка мягким шагом массирует мое уставшее тело, и знать, что я все равно проснусь через пару часов, и пустота, с которой что-то нужно делать, заштриховывать ее новой работой, ставить заплатки из хобби и интересов, придумывать новые цели, зная, что уверенность в завтрашнем дне спряталась где-то рядом, что я чувствую ее, будто в детстве, когда мы играли в прятки и я знала, что есть всего три-четыре места, куда могут спрятаться мои друзья, искала их и не могла найти, потому что пока я шла в одну сторону, они перепрятывались в другую, и понятно же, что это игра и совсем не обидно, потому что это я должна проявить ловкость и смекалку, потому что они-то уже все спрятались, и я чувствую это дыхание уверенности, мне кажется, что тень мелькнула за забором, я мчусь туда со всех ног, но там пусто, пусто и у меня на душе, и вот эта пустота и страх одиночества заставляют вжиматься в подушку, зажмуривать глаза и уговаривать: спи, спи! через пару часов начнется новый день.

ДЕРЕВО

КОЛЯ БАЦ
Родился в 1977 году в Москве. Вырос в Литве. В 2000 году в городской газете г. Клайпеды были опубликованы его первые литературные опыты на русском языке. Работал на телеканале «2×2» в Москве. Сейчас живет и работает в Амстердаме, Нидерланды.

Мише, его сыну, Саше и их дереву

Афанасий Валерьяныч встал с постели, а прямо из макушки у него росло дерево. Он почесал макушку и пошел в душ, потому что известно, что растения надо поливать. Во время завтрака Афанасий Валерьяныч чувствовал, что дерево все сильнее укореняется в нем, прорастает аж в самый позвоночник. Но неудобств это не вызывало, даже наоборот, в приятной неге слегка ломило кости. Одевшись и уже выходя из дома, Афанасий Валерьяныч посмотрел в зеркало и убедился, что дерево и правда заметно подросло. Чтобы пролезть в дверной проем, Афанасию Валерьянычу пришлось немного пригнуться, чего он никогда раньше не делал, будучи ростом уверенно ниже среднего. А входя в лифт, он поймал себя на мысли, что ведет себя так, будто носит на голове рога и теперь вынужден кланяться невидимому оппоненту, перед тем как, взбрыкнув копытом, нанести ему смертоносный удар. Но в лифте никого, кроме отражения Афанасия Валерьяныча и его дерева, не было. Поэтому вместо поединка оппоненты вежливо скрестили макушки своих растений и в полной тишине, вчетвером, заскользили в кабине лифта вниз.

На остановке трамвая Афанасий Валерьяныч встал сначала под навес, но дерево скребло крышу, и он отошел чуть поодаль. Тем более что и прятаться от дождика не надо – погода солнечная, расчудесная, а растениям ведь, как известно, необходимо солнечное тепло. Афанасий Валерьяныч смотрел вдаль, в точку, в которой рельсы сливаются и из которой должен возникнуть будущий трамвай. Но трамвай все не возникал, зато на другой стороне улицы возник человек в кепке. Он шел мимо, шел по своим делам. Во рту у него была папироса, а в руке – пила, скорее всего, напрямую с его делами связанная. Увидев Афанасия Валерьяныча, человек с пилой вдруг резко сошел со своего маршрута и наперерез рельсам пошел в сторону остановки.

– Эй, ты, с деревом на голове! – закричал человек с пилой, зачем-то еще указывая на Афанасия Валерьяныча двумя пальцами с дымящейся сигаретой в них.

Афанасий Валерьяныч покрутил головой на всякий случай, хотя на остановке не было не только никого другого с деревом на голове, на остановке вообще никого больше не было! Хотя теперь уже был... Человек с пилой схватил Афанасия Валерьяныча за ствол и вот так бесцеремонно поволок его к рельсам.

– Ща, погоди, – приговаривал он при этом, – ща мы тебе эту хрень отпилим.

Тут Афанасий Валерьяныч подумал, что это и правда логичный способ избавиться от дерева, но почему-то раньше ему это в голову не приходило. А не приходило потому, подумал про себя Афанасий

Валерьяныч, что избавляться от своего дерева он и не собирался.

– У вас пила ржавая! – закричал он, вырвался из ослабших на мгновение рук и что есть силы побежал вдоль рельсов, к точке, где никак не зарождался трамвай.

Через какое-то время, не чуя за собой погони, Афанасий Валерьяныч обернулся и увидел человека с пилой. Тот стоял у остановки, посреди рельсов, и тщательно высматривал на своей безупречно заточенной и блестящей пиле следы мнимой ржавчины.

Сначала он услышал, как трамвай ему звенит, чтоб он посторонился, а потом уже, подняв голову, которая становилась все тяжелее, увидел и сам трамвай, и его вагоновожатую. В яркой оранжевой безрукавке поверх грубого цветастого свитера, она отчаянно махала ему и что-то, скорее всего, нецензурно кричала. С рельсов он тем не менее не сходил, и не потому, что такой принципиальный, а потому, что в буквальном смысле в них врос. Трамвай, тем временем не переставая звенеть, начал еще и скрежетать тормозными колодками. Рассекая искры, он надвигался грозно, но все тише и тише, и остановился аккурат перед Афанасием Валерьянычем, разве что чуть толкнув того в грудь.

– Мужик, ну ты чего? – кричала на него вагоновожатая. – Не будь ты деревом, начисто бы тебя снесла!

Афанасий Валерьяныч пришел в себя, гордо встряхнул листьями и, словно не замечая вагоновожатой, вошел в трамвайную дверь.

– И за цветок в горшке оплачиваем проезд, – даже не глядя на него, резюмировала кондуктор, когда Афанасий Валерьяныч протянул ей мелочь, специально заготовленную для этого в правом кармане брюк.

– У меня нет горшка, – попробовал сопротивляться он, но кондуктор, снова не глядя, ткнула пальцем куда-то в район его головы.

– А это что тогда такое?

Афанасий Валерьяныч мог, конечно, попытаться дать этому какое-то объяснение, но не стал. Полез в левый карман за мелочью, специально заготовленной на обратную поездку. Его дерево уже столько раз его выручало, что вполне заслуживало отдельного места в трамвае. В этот момент Афанасий Валерьяныч чувствовал полное единение со своим деревом, но не потому, что все больше в дерево превращался, а наоборот – у него появилось ощущение, что и дерево становилось Афанасием Валерьянычем в той же мере, в кой Афанасий Валерьяныч становился им.

На проходной старый охранник Сеня, с которым они знали друг друга уже тысячу лет, вдруг поманил указательным пальцем Афанасия Валерьяныча и потребовал:

– Документики.

– Сеня, вы разве не видите, это же я... – пытался апеллировать Афанасий Валерьяныч, но документики мигом достал и приложил к окошку охранничьей будки.

– Ну, предположим, то, что ты Афанасий Валерьяныч, я и так вижу, но ты лучше не виляй, Афанасий, а скажи, как я могу пустить тебя на ответственный объект с посторонним предметом на голове? Тем более с деревом! Ведь это легковоспламеняющееся твердое вещество! Или совсем разжижело вещество твое серое? А?

И старый охранник Сеня высунулся из окошка охранничьей будки и пропахшими табаком пальцами постучал по коре дерева, проверил, твердым ли был ствол. Ствол оказался твердым, но как будто полым, будто не дерево это вовсе, а какой-то бамбук. Эхо от этих постукиваний гулко нависло над проходной, как шепот старых монахинь в пустом храме.

– Так! Что тут у нас происходит? – В проходную ворвался начальник ответственного объекта с модным каре и свитой из бухгалтерш и секретарш. – Нет, я, конечно, все понимаю, Афанасий Валерьяныч, вы, конечно, не совсем вдрабадан пьяным на работу явились...

– Но я абсолютно трезв... – пытался возражать Афанасий Валерьяныч.

– Вот я и говорю, совсем почти не пьяный, но все же, Афанасий Валерьяныч, на ответственную работу с деревом, тем более на голове... Это, согласитесь, уже непорядок, и я считаю своей прямой обязанностью немедленно и со всей строгостью...

Тут начальник ответственного объекта ушел в пике одной из своих спонтанных и вдохновленных тирад. Бухгалтерши и секретарши делали беглые пометки в блокнотах, а Афанасий Валерьяныч впал в привычный для него во время таких тирад транс. Только теперь его еще осеняла приятной тенью крона – пусть и не вечнозеленого, но навеки с ним породнившегося дерева.

– Пожарная безопасность! – то ли сообщил свое кредо, то ли доложил о прибытии человек в полном обмундировании пожарного. Вполне вероятно, он сделал и то и другое сразу.

– Отлично! – обрадовался начальник ответственного объекта. – Вы как раз вовремя!

– А где пожар? – как будто даже расстроился пожарный.

Я и мое дерево не представляем никакой угрозы... – Он начал понемногу пятиться назад. – Его кора обладает прекрасной противопожарной изоляцией... – Тут он уперся в стену из строчивших что-то в свои блокноты бухгалтерш и секретарш. Дальше отступать было некуда. – В конце концов, нельзя просто так размахивать топором перед лицом невинного человека!..

– Вот! – кивнул начальник ответственного объекта на Афанасия Валерьяныча. – Потенциальный.

Тяжелой походкой, похожий в своем скафандре на космонавта, пожарный направился в сторону Афанасия Валерьяныча, на ходу высвобождая висящий на поясе топор.

– Послушайте, – не на шутку взволновался Афанасий Валерьяныч, – я и мое дерево не представляем никакой угрозы... – Он начал понемногу пятиться назад. – Его кора обладает прекрасной противопожарной изоляцией... – Тут он уперся в стену из строчивших что-то в свои блокноты бухгалтерш и секретарш. Дальше отступать было некуда. – В конце концов, нельзя просто так размахивать топором перед лицом невинного человека!..

Но все доводы были напрасны. Пожарный надвигался на Афанасия Валерьяныча с каким-то диковатым задором в глазах. Было ясно – этот лучше всего тушит те пожары, которые сам же и раздувает.

– Эй! – раздался вдруг уверенный в себе, или, скорее, в своем обладателе голос. – Ну-ка, не трожь дерево! – Старый охранник Сеня вышел из охранничьей будки с карабином наперевес и, не сводя глаз с пожарного с топором, сказал Афанасию Валерьянычу: – Ты тикай помаленьку отсюда, а я за этими тут пригляжу пока...

Выдалось раз такое дело – нежданно выпал в календарной лотерее выходной, значит, надо отдыхать! И Афанасий Валерьяныч вспомнил, что всегда хотел записаться в какой-нибудь кружок. В детстве он ходил в кружок радистов и научился там азбуке Морзе. Ему очень понравилось. Он бы пошел и в кружок хоккея на траве, но у них в городе такого нет. А тут ему объявление на столбе как раз попадается. *«Клуб садоводов-любителей “Мохнатая Ель” приглашает энтузиастов на совместные посадочные работы»*. Афанасий Валерьяныч постоял немного у столба. Почувствовал с ним какое-то далекое родство. Он ведь тоже стоит в самой гуще, а почти никем не примечен. Птицы вьют на нем гнезда. Пьяницы пинают. Белки вверх-вниз шныряют по металлическому стволу. «Столб – робот среди деревьев, – подумал Афанасий Валерьяныч. – Дерево-робот!» Ему очень понравился его собственный ход мыслей. Он погладил столб и прислонился к нему щекой.

– Холодный, – сказал Афанасий Валерьяныч и пошел записываться в кружок садоводов-любителей «Мохнатая Ель».

Пришел Афанасий Валерьяныч по адресу на самый край города, где никогда раньше не был, и видит: бескрайнее поле, в нем повсюду рытвины, как после бомбежки, и из рытвин круглые попы садовниц торчат. Афанасию Валерьянычу по душе было такое зрелище, и он с особым рвением заспешил в ряды садоводов-энтузиастов. Но не так-то быстро... Сладкую пастораль заслонило круглое и красное от долгого пребывания на солнце лицо.

– Вы по какому вопросу? – спросило лицо, оказавшееся, как и попы, женским.

– Вот же, объявление... – Афанасий Валерьяныч оторвал от груди объявление, которое чуть раньше оторвал от столба, чтобы использовать его как карту и наверняка не заблудиться.

Данная часть плана сработала. Влиться же в ряды сажающих деревья энтузиастов пока катастрофически не удавалось. Женщина в платочке и с красным от долгого пребывания на солнце лицом внимательно изучила объявление, как будто это было не объявление, а зашифрованный мандат. Затем она осмотрела Афанасия Валерьяныча с ног до головы,

причем, дойдя до головы, она пошла выше, отчего ее глаза закатились и придали ей демонический вид.

– Вот смотрю я на вас и вижу, – сообщила она все еще с закатившимися глазами, и Афанасию Валерьянычу почудилось, что вещает оракул. – Никакой вы не садовод. И уже даже не саженец.

Следом за отказом быть принятым в ряды «Мохнатой Ели» отправился Афанасий Валерьяныч в ботанический сад. По пути заглянул в зоопарк, но надолго там не задержался. Не понравилось ему там. То жираф какой-нибудь норовит сверху лист откусить, то ламы из-за забора боками об него трутся. Ну и пределом терпения стал чей-то пес, коварно обмочивший ему штанину. А потом, уже на выходе из зоопарка, одна девочка закричала, показывая на него:

– Мама, мама! Человек-единорог!

Но ничуть этим Афанасия Валерьяныча не обидела. Даже наоборот. Он хотел ей сказать что-нибудь по-единорожьи, но кроме «му» ничего на ум не приходило. Другое дело ботанический сад. Тишь да гладь, люди все утонченные. Все ко всем на вы. Растения сами расшаркиваются перед посетителями и расстилаются коврами и тропами. Правда, и здесь не обошлось без хамства. Смотритель парка, увидев, что дерево покидает положенное ему рабочее место, решил этому воспрепятствовать.

– Иди сюда, дерево, – приговаривал он, гоняясь по ботаническим тропам за Афанасием Валерьянычем. – Ну-ка вернись на место, кому сказал!

Но тот уже научился удерживать центр тяжести и улепетывал по ботаническим дорожкам что есть прыти. А потом и вовсе вспомнил, кто он, свернул с дорожки и ушел от погони, затерявшись среди себе подобных.

Уже темнело, когда Афанасий Валерьяныч, после богатого на события дня, возвращался домой. Загорелись фонари, окна домов и кафе, подсветки магазинов и киосков. На одном из таких он прочел: СОЮЗПЕЧАТЬ. Из всех букв, правда, горела только одна – Ю, – и Афанасий Валерьяныч, будучи человеком образованным, сразу понял, что обращаются к нему, только по-английски. Подойдя ближе, он увидел обычную вроде картину: на прилавке газетного киоска лежали нераспроданные за день газеты и журналы. Но Афанасий Валерьяныч посмотрел на привычный киоск чужими глазами. И очутился в вольере, где, красиво разложив крылья-страницы, лежали мертвые птицы. И так захотелось им помочь, схватить, вдохнуть жизнь и отпустить в небо, чтобы летели прочь, проливаясь черным дождем из типографской краски...

Поднялся ветер, и ветки сильно окрепшего за день дерева бешено заколотились по витрине киоска, явно намереваясь ее разбить. Афанасий Валерьяныч вандализм, разумеется, не поощрял, но ситуация была непростая, и он стал понемножечку помогать дереву, напирая всем телом на стекло, пока то не поддалось и не треснуло. Тихонечко, как будто лопнул под свитером надувной шарик.

– Ни с места, ветви за спину! – услышал Афанасий Валерьяныч у себя за спиной, но поворачиваться не стал, а сделал все так, как и велел ему голос. Но не стражей порядка, а тот, что выстукивал свое послание дрожью веток по стеклу.

А наутро свежие газеты разлетятся по городу и сообщат новость: прошлой ночью было задержано Дерево, пытавшееся ограбить киоск «Союзпечати».

– И что с ним сделали? – спрашивали те, кто новость в газетах еще не читал.
– Посадили, – отвечали те, кто с новостью уже ознакомился.
– Кого посадили?
– Дерево.
– Какое?
– По-моему, липа.
– Скорее, дуб.
– Или осина.
– Сосна!
– Сама ты сосна, дубина, а куда его посадили?
– Пока в обезьяннике сидит.
– А за что, говоришь?
– Киоск «Союзпечати» пыталось ограбить.
– Кто?
– Кто, кто...
– ДЕ-РЕ-ВО!

16.06–26.06.2020
Амстердам

МОЛОКО

«А вот молока-то я и не взял», – вспомнил я и пошел обратно в магазин. За молоком.

– Зин, а Зин!
– Да чего тебе?!
– Зин, я в магазин пойду вернусь, молоко забыл, может, что еще нужно, Зин? В магазине!

Зина не любит посылать меня в магазин, потому что я все время что-нибудь забываю. Или наоборот: куплю, но не то. Но она меня все равно посылает. И не только в магазин. А я хожу. Потому что люблю ходить в магазин. И Зину.

Вышел я из подъезда, а по дороге навстречу мне идет сосед наш Алик, дальнобойщик. И в руках у него большая трехлитровая банка. И в банке что-то белое налито. Алик поравнялся со мной, поставил банку на землю. Я заметил, что банка сверху накрыта бумажкой и перетянута поверх бумажки резинкой.

– Куда собрался, сосед? – спросил меня дальнобойщик.
– Дык опять в магазин, – ответил я, потому что мы с ним раньше уже виделись, но тогда он был еще без банки, а я пока не знал, что забуду про молоко.
– Забыл что-то? – спросил сосед.
– Угу, – ответил я и посмотрел на его банку. – Сосед, – спросил я у дальнобойщика, – а где такое дают?

Алик стал активно разглаживать свои усы, как бы взвешивая на них, стоит ли ему делиться со мной сокровенным. И то перетягивал книзу левый ус, то правый. Но потом Алик присел, взял в руки банку и, кряхтя, распрямился.

– Пойдем, – сказал сосед Алик, – покажу.

Пока мы шли, Алик рассказывал про свой незапланированный, но затянувшийся, как, впрочем, это у всех и бывает, ремонт.

– Покрасить решил тут недавно батарею, всего одну, на кухне, да разошелся так, что покрасил не только все батареи в доме, но и все двери, окна и стены. Увлекательное занятие, я тебе скажу. Заодно чуть голову себе не покрасил. Вовремя остановился. – Алик пригладил усы, в свете заходящего солнца – пылающе-алые. – А ты, сосед, ремонт, похоже, давно не устраивал? – поинтересовался Алик.
– С чего ты взял? – задал я с виду безобидный вопрос, но Алик вдруг заметно смутился, как будто понял, что ляпнул лишнего.
– А вот мы и на месте!

Перед нами было совершенно мне незнакомое здание из коричневого кирпича, похожее на биржу или Дом Советов, и я сразу понял, что только здесь и может находиться подпольная точка торговли парным молоком. Очевидно, что где-то там на задворках пасутся священные коровы, подпитываемые

альпийским кислородом и альпийской же травой. А в хитрых подземных лабиринтах Дома Советов нас ждет аудиенция со священнослужителями этого тайного культа. Там мы поучаствуем в древнем обряде – пригубим небесный нектар Молочного океана.

Но все произошло совсем не так, как мне представлялось. Не оказалось не только никаких священнослужителей и культов, не было, похоже, и никакого молока тоже. Ну или, по крайней мере, искать его в этом магазине было бы как минимум странно. Поскольку оказались мы, как я сейчас понял по сохранившимся еще с советских времен вывескам, в хозяйственном магазине «Все для дома». Но я не переставал верить в добрый гений соседа Алика. Он же смог раздобыть здесь молоко? Значит, оно здесь есть! Алик тем временем уверенно несся вперед, то и дело оборачиваясь и подгоняя меня, что логично, ведь молоко могло если не убежать, то уж точно скиснуть. Вот мы нырнули в какое-то закулисье, и к Алику подошел очень похожий на него в степени пронырливости продавец. Они переговаривались в сторонке, глядя сосредоточенно друг другу в глаза, а потом в эту дуэль взглядов был вовлечен и я. Первым обернулся Алик и многозначительно заглянул мне в душу. Потом то же самое проделал пронырливый продавец. И только после этого они подозвали меня к себе.

Мы шли гулкими коридорами, открывали тяжелые скрипящие двери, ступали по сырому кафельному полу и в итоге оказались в плохо освещенной комнате, посреди которой стоял большущий бидон.

– На, пробуй! – И продавец вручил мне трехлитровую банку, с которой я, почтительно склонив голову, направился к бидону.

Надо сказать, что команду «пробуй» я истолковал буквально, и когда подошел к бидону и поднял его, вместо того чтобы налить его содержимое в банку, решил сначала пригубить из него напрямую. Приобщиться, так сказать, к первоисточнику. Испить из Святого Грааля. За мгновение до того, как сделать глоток, я почувствовал на себе чьи-то руки. Пройдоха-продавец кричал, вырывая у меня бидон:

– Дядя, полегче! Это ж краска!

Не веря своим ушам, я искал если не опровержения его словам, то хотя бы утешения в глазах своего соседа Алика. Но напрасно.

– Эмульсионная, – подтвердил он и развел руками.

Продавец успел меня остановить вовремя. Глоток я, к счастью, так и не сделал. Но... до рта бидон все же донес. И теперь на месте усов у меня белела печать посвящения в тайный орден Молочного океана.

Выйдя из Дома Советов, я сел на остановке в автобус и поехал за город. Кровь из носа – надо купить молока. И только парного. Никакое другое меня не устроит. По крайней мере, не сегодня. В автобусе прямо передо мной сидела дама с пышной шевелюрой, взбитой, как сливки. Причем головы дамы мне было не видно. Казалось, что над спинкой ее сиденья просто парит облако. Поскольку дама была седовласой, а точнее, серовласой, облако было грозовым. Иными словами, над головой моей соседки по автобусу нависла туча. И всю дорогу мне нестерпимо хотелось к ней прикоснуться. Я вспомнил, как еще ребенком, в первый раз летя на самолете, хотел бросить монетку на облака, проверить, удержится ли. Так и сейчас. Мне не терпелось положить что-нибудь на голову даме с облаком, и поскольку все монетки ушли на оплату проезда, наилучшим претендентом мне виделась моя трехлитровая банка, которую я вез на коленях. Пока я старался не поддаваться нелепому порыву, женщина поднялась со своего места, обнаружив под облаком голову и даже все тело. Встав, она посмотрела на меня с таким глубоким сочувствием, что мне стало не по себе. Дама заглянула к себе в сумку, достала кошелек и звонко бросила в пустую трехлитровую банку мелочь. Я благодарно склонил голову и зачем-то перекрестил даму с облаком, хотя никогда особо набожным не был.

А Зинка там, поди, заждалась меня. Думает, я в магазине пропал. А я, Зин, и не в магазине вовсе. Во как оно бывает! Уже ужин скоро, а Зинка сильно не любит, когда я к ужину опаздываю. А уж что будет, если я на него не явлюсь, я и боюсь предположить, потому что никогда раньше проверить это так и не отважился.

– Понимаешь, Зин, – репетировал я про себя объяснительную речь. – Собрался я в магазин, а оказался черт знает где, хотя вон только за пределы города вроде как выехали. А уже – рытвины, буераки, лешие какие-то в кустах бродят. Одним словом, сказка. Вот-вот должны пойти местные фермеры-предприниматели, торгующие на обочине.

Я пошел поближе к водителю, чтобы попросить его остановиться, как только такого фермера увидим. Не успел я даже заикнуться, как водитель отрезал:

– Не положено.

– Что не положено? – уточнил я.

– Остановки в неустановленных местах. – И он кивнул на мою трехлитровую банку с барахтающейся в ней мелочью, которую я трепетно прижимал к груди.

Бабуля открыла банку и ложкой зачерпнула действительно густейшую, блестящую от масел и жизни в ней сметану. Я представил, как намазал бы ее на ломоть ломкого, только из пекарни, душистого и теплого хлеба, и решил, была не была, Зинке скажу, что взял молоко, но так долго добирался, что в духоте и тряске автобуса молоко стало сметаной.

– Но, командир, ты же понимаешь, заправиться надо, – полезло из меня что-то дворовое, и водитель смягчился.
– Вон в том сарае с соломенной крышей спроси бабу Нюшу, – посоветовал он, останавливаясь в неположенном месте.

На прощание он ухмыльнулся мне все понимающей ухмылкой и, как мудрый змий, зашипев закрывающимися дверями, унесся прочь.

В сарае с соломенной крышей мне указали на лестницу и велели искать Якова. И тут я понял, что таких соискателей – тьма, и имя им если не легион, то уж чертова дюжина точно. Лестница Якова просто кишела икающими, алкающими алкоголиками. В плавном пьяном танце, с трехлитровыми банками в руках, двумя непрерывными потоками восходили они по лестнице и нисходили по ней. У тех, кто восходил, банки были пусты. У нисходивших в банках была белесая мутноватая жидкость. Я присоединился к восходящей процессии и вскоре предстал пред самим Яковом, или попросту дедом Яшей, как называли его клиенты. Стоило мне войти в его покои, как я был сразу встречен необычным вопросом.

– Вот скажи мне, почему в году всего по одному – одно лето, одна весна и одна осень, а зим – целых две? – хитро щурясь, спросил меня дед Яша.

Я не нашелся что ответить и поэтому ляпнул:

– Зимой идет снег, белый, как молоко.

Услышав последнее слово, дед Яша нахмурился.

– Молоко, говоришь? А ты сам из каковских будешь?

Тут я понял, что долго комедию не проломаю, и честно признался:

– Понимаете, деда Яша, мне бы молочка... парного...

Дед Яша посмотрел на меня как на юродивого или антиалкогольного активиста.

– Баб Нюш, иди глянь на это... – сказал он, обращаясь явно не ко мне, но при этом не сводя с меня своих хищных глаз.

Тут же откуда-то из стены на меня уставилась еще одна пара точно таких же ястребиных глазищ. Пару раз моргнув, они снова слились со стеной.

Не ожидая более ничего путного от этой встречи, я стал медленно отступать. Дед Яша никак не реагировал на мое ретирование. Просто смотрел мне в глаза и вращал желваками, явно всем сердцем меня ненавидя. Отступая задним ходом, я аккуратно вписался в дверной проем и уже думал, что невзгодам моим конец, но неожиданно спиной навалился на уже одной ногой спустившегося вниз по лестнице коллегу. Его шаткие ноги не выдержали моего дополнительного веса, и мы кубарем, вовлекая в него остальных уважаемых лиц, как нисходивших, так и поднимавшихся по лестнице Якова, аки домино попадали сначала на лестницу, а потом и на пол. Разумеется, были среди нас и эквилибристы высочайшей пробы, коим удалось, сгруппировавшись, спасти своего грудного малыша, – среди них я, тем более что и малыш мой лишним весом обременен не был, – но у большинства, конечно, и так горько расстроенных жизнью, и вовсе все повалилось из рук. Билось стекло, текла рекой самогонка, рванина, что называется, гуляла вовсю. Не это ли мечта поэта? Но посетители уважаемого заведения так не считали. Вся лестница Якова объединилась вдруг в один ненавидящий меня взгляд, в однородную урчащую массу, и эта масса, медленно, насколько позволяло здоровье, смрадной стеной поползла на меня.

Если б алкаши умели бегать, я несомненно был бы растерзан. А так, даже с банкой в руках, я ушел от них как заправской спринтер, дребезжа мелочью, как бык колокольчиком. Иногда оборачиваясь, я видел, как некоторые из них еще продолжали по инерции ползти за мной вслед, но большинство отставало, кто-то, обессилев без эликсира, падал и уже не вставал. А впереди, прямо у дороги, на обочине,

Цыганка вдруг схватила меня за пах, потом так же внезапно коснулась моего лба, чем, словно нажав нужные кнопки, ввела меня в оцепенение, а дальше, уже совершенно беспрепятственно, стала шарить по моим карманам. Я видел, как она той мартышкой из охотничьего трюка жадно залезла рукой в банку, что я услужливо держал перед ней, соскребла всю мелочь со дна, но, в отличие от подопытной мартышки, легко смогла вынуть из банки кулак с зажатой добычей. На прощание цыганка еще разок хватанула меня за пах, чем, похоже, расколдовала меня.

сидела, подбоченившись, старушка в платочке. Рядом с ней на детском столике, аккуратно накрытом клеенкой, стояла такая же, как и у меня, трехлитровая банка. Только полная до краев чем-то маняще-белым. Как снег, будь он неладен.

– Бабуль, почем молочко? – заорал я от счастья уже издали, но бабуля меня не расслышала, а только лодочкой приложила руку к уху.
– С утра раскупили все молочко, сыночек, что ты! – ответила она, когда, подойдя ближе, я повторил вопрос. – А если б и оставалось что, так оно само в сметану бы уже превратилось, хе-хе-хе, – неожиданно засмеялась старушка в платочке, как разглядел я вблизи, из той же клеенки, что и ее скатерть. – На вот, попробуй, сметанка густая, жирная, аж блестит!

Бабуля открыла банку и ложкой зачерпнула действительно густейшую, блестящую от масел и жизни в ней сметану. Я представил, как намазал бы ее на ломоть ломкого, только из пекарни, душистого и теплого хлеба, и решил, была не была, Зинке скажу, что взял молоко, но так долго добирался, что в духоте и тряске автобуса молоко стало сметаной. Я полез за кошельком и понял, что кошелька нет! Наверное, выпал, пока я кувыркался с пьянчужками... Как ни просил я старушку войти в мое положение, как ни живописал свой побег от псов Якова, старушка была неумолима. Более того, поняв, что денег у меня нет, она из благодушной старушки преобразилась в старушку бездушную и зашукала на меня, как на противного голубя:

– Шу! Шу! Пшел отседова, кому говорю! Шу-у-у!

Ну я и пошел, а что еще оставалось делать? Не хватать же банку со сметаной и бежать прочь... «Еще не так поздно, – думал я, – сейчас сяду в автобус, благо есть мелочь, как раз на проезд хватит, спасибо женщине-облаку, доеду до магазина, а Зине расскажу все как есть. Чистейшую правду! Она ведь у меня хорошая. Она поймет. Зина знает, что магазин и я – стихии разного толка. Но иногда мы сходимся. Как будет и сейчас, когда я дойду до автобусной остановки... и встречу там цыганку». Я увидел ее издалека. И уже тогда понял, что ехать она никуда не собирается. Один автобус она пропустила уже при мне. Да и всем своим видом давала понять, кружа вокруг остановки, что не путник она на этой дороге.

– Мужчинка, иди сюда, что расскажу. Все знаю, все вижу. Мне гадать-угадывать не надо. И в карты смотреть не буду. Все знаю. Все вижу и без них.

Цыганка вдруг схватила меня за пах, потом так же внезапно коснулась моего лба, чем, словно нажав нужные кнопки, ввела меня в оцепенение, а дальше, уже совершенно беспрепятственно, стала шарить по моим карманам. Я видел, как она той мартышкой из охотничьего трюка жадно залезла рукой в банку, что я услужливо держал перед ней, соскребла всю мелочь со дна, но, в отличие от подопытной мартышки, легко смогла вынуть из банки кулак с зажатой добычей. На прощание цыганка еще разок хватанула меня за пах, чем, похоже, расколдовала меня.

– Все знаю, все вижу, – приговаривала она, растворяясь за остановочной будкой, и в этом по-

лусне мне привиделось, что из-под ее цветастых юбок высунулось черное лицо цыгана с редкой, как у попа, бородой.

Все, что ни случается, все к лучшему! Ведь, поедь я сейчас в магазин, так пока добрался бы до него, пока отстоял бы там очередь, и только на кассе вспомнил бы, что кошелька-то у меня и нет! Так что цыганка, можно сказать, избавила меня от лишних хлопот. А раз ехать мне некуда, то пойду пройдусь! Я ведь обожаю вечерние прогулки на свежем воздухе. Вон и поле бескрайнее за остановкой начинается, красота да раздолье! Как пионер на картошке, высоко поднимая колени, зашагал я по кочкам и кротовым норам, все больше погружаясь в ночь и крепко прижимая к груди ставшую мне такой родной трехлитровую банку. И вдруг из темноты прорезались два огромных одичалых глаза. Я с испугу подумал, что это баба Нюша меня нагнала, мстить за нелюбовь к ее напитку, но нет. Это была корова! Судя по виду, священная! Корова напоминала индийского аскета-отшельника, заплутавшего после недавнего перевоплощения. Тощая до костей, вся нелепая и перекособоченная, словно отсидела себе конечности под деревом Бодхи, она смотрела на меня одновременно жалостливо и благородно. Как будто жалела, что мне недосягаемы ее духовные высоты. А я тем временем решил не упускать случай. Осторожно, чтоб не спугнуть дикого зверя, я поставил банку под ее обвисшее вымя и стал, как звонарь, дергать святые сосцы. Корова протяжно и жалобно замычала и посмотрела на меня большими круглыми глазами так, будто интересовалась, не сошел ли я с ума. Но я не сдавался! Продолжая свои нехитрые упражнения, я добился того, что моя банка наполнилась почти на треть мутной жидкостью, страшно напоминавшей ту, что я видел у деда Яши. В знак благодарности я погладил костлявый бок священной коровы, но она, как ошпаренная, припустила в ночь с неожиданной для коровы-отшельника прытью.

«Все-таки удалось! – думал я, глядя на плескавшееся на донышке банки подобие молока. – Разумеется, не все, и не совсем так, как задумывалось, но отрицать общий успех предприятия было бы глупо». Счастливый, я шел по полю, а низко надо мной светила большая и белая, как снег, полная Луна. Я ступал по освещаемому ей Млечному Пути и так, доверившись ей, вышел прямо к дому. У дверей я опустил голову и увидел, что на дне трехлитровой банки плавает Луна.

– Что это? – спросила Зина на пороге, увидев банку, которую я протягивал ей.
– Я принес тебе Луну, – ответил я.

Зина повела носом и поинтересовалась:
– А почему так спиртом несет?

Никто и никогда раньше не дарил Зине Луну. Пусть она и хмурилась, но внутри была очень счастлива, по-детски. Когда весь дом заснул, Зина стерла остатки краски под его носом и спросила:
– С Луной целовался?

И заходила их кровать, и забилась железной спинкой о стену, так что сосед Алик за стеной отметил про себя, что кровать: а) давно не смазанная; б) слишком разболтанная, не мешало бы подтянуть гайки. А в окна к ним всем беззастенчиво заглядывала своим большим белым глазом Луна, нависшая так низко над домом, и так высоко – будто на стеклянный стол там над нами поставили стакан молока.

1.07–7.07.2020
Амстердам

ПРАЗДНИК

Маме

С его женой я, конечно, была знакома. Мы были не только соседи по дому, но еще и коллеги. Поэтому когда вдовец Валентины Виталик пожаловал ко мне в гости и объявил, что собирается устроить праздник в честь ее годовщины, я не сильно удивилась.

– Ну какой там праздник... – поправился он. – Так, посидим, помянем...

В ходе нашей неторопливой беседы выяснилось, что сосед явился вовсе не для того, чтобы позвать меня в гости, как я грешным делом подумала сначала. Он наоборот – пришел напрашиваться!

– Ты только подруг собери, ну и на стол что-нибудь накрой, чтоб поскромнее... – даже не напрашивался, а вполне себе уже напросился и диктовал свои условия он.

– А ты холодец ешь? – опешила я от собственного вопроса.

– Ем, ем, – рефлекторно задвигал челюстью Виталик. – И рыбки еще возьми, красной. Ну и салатики там всякие. Сок.

Он смотрел чуть поверх моей головы, вспоминал, не забыл ли чего еще, а я искренне надеялась, что там, куда он сейчас смотрит, появится черная прореха и засосет его вместе с его праздником.

– А вино, водку? – потянул меня какой-то бес за язык.

– Ну а как же без них? Возьми по бутылочке и того и другого.

Он уже собирался уходить, дошел до дверей, но развернулся, взялся за козырек своей кожаной водительской кепки.

– И ты знаешь, Люсь, – он сделался одновременно домашним и жалким, как пес, искавший новый дом, – боржомь еще возьми, а? – попросил он и весь сморщился, изображая дискомфорт. – А то последнее время рези в животе мучают, как думаешь, что это может быть?

Готовясь к застолью, я ходила по магазинам, как в тумане. Выбирала подолгу продукты, долго не могла понять, для чего мне в руке банка сметаны или консервированная брюква. Потом вспоминала Валентину. А потом и Виталика. И все становилось на свои места. Насколько это возможно. А потом в магазине появился и сам черт. Не уверена, что он не следил за мной все это время, потому что, выскочив откуда-то сбоку, как из табакерки, Виталик стал вкрадчиво объяснять, почему все выбранные мной продукты непригодны для нашей общей цели и должны быть заменены на те, которые он, так уж и быть, мне сейчас услужливо укажет. Мы прошлись с ним по рядам, где он трепетно складывал в мою тележку все необходимые ему вещи.

– И водичку, главное, не забыть. Как раз, смотри, по акции.

Нет, возникала, конечно, мысль плавленые сырки по блюдечкам разложить, сушки в хрустальной вазе подать, да самовар достать с антресоли и поставить. Натуральный, с сапогом. Чтоб был ему его праздник. Но потом перед гостями стало неудобно. В итоге провозилась пару дней с холодцом. И на разных стадиях его приготовления меня неожиданно, как укол в сердце, посещал настойчивый вопрос: «А чего это я? Какой-то праздник на носу? К чему готовлюсь?» И вспоминала...

Виталик добавил к почти доверху наполненной тележке упаковку из 12 бутылок минеральной воды «Боржоми». Про себя я, конечно, не сомневалась, что автомобиль Виталика припаркован рядышком и ждет нас, чтобы довезти эту гору продуктов до дому. Но как же я ошибалась. Уже подходя к кассам, Виталик вдруг оживился и стал вращать головой и шмыгать носом, что твой суслик, почуявший то ли опасность, то ли добычу.

– Ну, я побежал, а ты смотри, воду сильно не взбалтывай, а то самый настоящий гейзер получится. Будет у нас застолье с фонтанами, как в саду Тюильри, – захихикал он и исчез.

Нет, возникала, конечно, мысль плавленые сырки по блюдечкам разложить, сушки в хрустальной вазе подать, да самовар достать с антресоли и поставить. Натуральный, с сапогом. Чтоб был ему его праздник. Но потом перед гостями стало неудобно. В итоге провозилась пару дней с холодцом. И на разных стадиях его приготовления меня неожиданно, как укол в сердце, посещал настойчивый вопрос: «А чего это я? Какой-то праздник на носу? К чему готовлюсь?» И вспоминала... И про Виталика, и про Валентину, земля ей пухом... В назначенный день и час первой явилась соседка с лестничной клетки, из квартиры напротив. Вот как ее квартира – напротив, так и она сама – полная мне противоположность. Из дома нос почти не кажет, зато где я была, знает лучше меня самой. Стоит только дверной ручки коснуться, как она уже кричит из-за своей запертой на семь засовов двери:

– Люсь, ты в магазин пошла?

«Да пошла, пошла, от тебя куда подальше лишь бы», – думаю про себя. А вслух ей говорю сладким голосом:

– В магазин, Элечка, в магазин, тебе взять что-нибудь?

Лицо у Эли круглое, как тарелка, и на ней, как яичница, два вечно удивленных глаза. Вылитая сова.

– Ну что? Ты первая, похоже, будешь, – говорю ей, встречая.

А она по-своему, по-совиному мне в ответ:

– Угу.

А потом пришла Сима. Прямиком из бассейна. Сима самая спортивная из нас и самая моложавая. Ну то есть как моложавая, на десять лет меня младше, вот и моложавая.

– Ой, вы знаете, в бассэйне столько народу сегодня, – сообщила она нам с Элей с порога. – И этот волосатик снова приперся. – Сима поставила сумку с купальными принадлежностями на пол, разулась. – Я, значит, плаваю себе, лавируя среди всех этих парочек, которые на берегу не наговорились, думаю, хорошо хоть волосатика сегодня нет. И вы знаете, Люся, вот только это про себя подумала, поворачиваю голову, и волосатик мой плывет на соседней дорожке! Толстенький, морда так и светится, лысенький наполовину, а сзади этот жиденький, жирненький хвостик за ним по воде волочится. Ей-богу, один в один крысиный. Вот как увижу его, тут же хочется подплыть и ножницами его чик...

Я на стол как раз накрывала, мимо холодец проносила. Сима брезгливо посмотрела на густое желе, в котором, как в невесомости, зависли куски волокнистого мяса и хрящей.

– А где ваш мужчина? – спросила меня Сима.

– Чего это он мой? – стала оправдываться я. – Вот-вот должен подойти. Всегда точно вовремя приходит. Как будильник.

Заскреблись в дверь. А до этого послышалось характерное шарканье и шлепанье тапок, которые всегда предваряли появление Риммы, соседки сверху. Совсем беззубая, она питала теплые чувства к моему холодцу, который, хоть тщеславие и грех, но всегда получался у меня особенно мягким. Римма курила папиросы, которые вставлялись в ее рот как влитые, словно это не рот, а мундштук. Общаясь с его помощью, Римма издавала шипящие и свистящие звуки, которые поднимались откуда-то из глубин ее черного смолянистого естества.

– Кому петь, кому пердеть, – элегантно просипела она и прошла к столу.
– Етить тя! – вырвалось с испугу у меня, а миска полетела из рук.

Она была железной и пустой. Поэтому, упав на пол, миска просто покрутилась немного, как половинка полого мира, и встала. За секунду до этого я почувствовала затылком чье-то присутствие и обернулась, ожидая увидеть там кого-то из только что прибывших гостей. Но вместо них я увидела Виталика, который никак свое прибытие не анонсировал. Он просто вырос посреди кухни, прямо под люстрой, как будто ею был спроецирован, в своей неизменной кожаной кепке, как гриб-боровик после дождя.

– Я тут тортик принес, – доложил он и протянул мне целлофановый мешочек. – Точнее, тортики раскупили. Сушки вот взял.

Римма уже давно проживала не на одном с нами этаже. Пару лет назад, когда ей перевалило за 80, Римма как бы переехала в мезонин, этот полуэтаж, надстройку над миром. И вот она была еще с нами, но уже чувствовалось, что суть ее ускользает и потихонечку переносит вещи наверх, в преддверие неба, оставляя недоумевающему жильцу голые незнакомые стены. Я поняла это, когда Римма пожаловалась на голову, которую стала видеть по ночам на подоконнике. Нет, голова ее особо не беспокоила. Римму вообще было трудно обескуражить. Представляю, как она сидела в свете полной луны и обкуривала привидевшуюся ей голову своей махоркой. Зато мне от ее рассказов надолго становилось не по себе...

– Так, ну что, ухнули, тронулись? – засуетился Виталик.

Все сели за стол, а Римма, и так за ним сидевшая, наоборот встала и, выпустив густое облако дыма, проклокотала:

– А именинник где?

Я, как хозяйка, поспешила снисходительно ее поправить:

– Риммушка, нету именинника, нет.
– Все ясно, значит, опять кого-то хороним...

Неловкое молчание нарушила Сима.

– Нет, мир, конечно, полон необъяснимых чудес! – заявила она, а мы все приготовились слушать. – Вот был у нас случай – мы всем садовым коллективом высадили брюкву. А повырастала у нас – репа!

Сима была не только спортсменкой, но и садоводом-любителем. Ничего путного, правда, в ее огороде не росло, но Сима об этом, похоже, не догадывалась.

– Так, может, вы просто репу все повысаживали? – подала голос Эля-Сова.

Дело шло к ночи; видимо, наступало время охоты.

– Да нет же, Эля, ну написано же черным по белому на пакетиках – се-ме-на брю-квы! – с легким раздражением выдавила из себя Сима.
– Так мало ли что там написано? – хлопала глазищами Сова.
– Репа и брюква, – захрипела миротворец Римма, – это как хрен с горчицей. Всегда вместе, хоть и порознь. – Она намазала на свой кусок холодца толстейший слой горчицы, а сверху нанесла такой же щедрый пласт хрена. – За народное единение! – то ли предложила она тост, то ли просто брякнула, но все на всякий случай, не чокаясь, выпили.

Виталик как-то очень быстро захмелел и загрустил. Сидел, повесив нос, ковыряя при этом вилкой свой кусок холодца. Вдруг, не поднимая носа, он поднял рюмку и задумчиво забурчал в тарелку:

– Холодец – он ведь как этот мир, вот как это вот все. – Он обвел рукой с рюмкой круг. – Такое же непонятное... желе...
– Что, не получился в этот раз холодец? – хотелось мне до конца уяснить ход мысли Виталика.
– Говорит, все – жэлэ... – попыталась помочь Виталику Сима.
– А мы в этом желе, как мухи, – продолжал Виталик, – застряли, ползаем...
– Так застряли или ползаем? – хотелось все же ясности мне.
– Вот чего прицепились? – взревела Римма. – Говорит вам человек, что мух терпеть не может, а вы ему долдоните про какое-то там жэлэ! Виталик, я тебя понимаю. Мухи – дерьмо!

Виталик сразу же воодушевился, найдя единомышленников, и пересел поближе к Римме. Говорили они, похоже, о совершенно разных вещах, но на

одном языке – раненого толпой сердца. Эля-Сова смотрела своими глазами-яичницами на все происходящее, как на очень странный спектакль, а потом тихо сказала себе под нос:

– И нас ведь тоже, поди, кто-то жрет...

Когда гости расходились, Сима отвела меня в сторонку.

– Вы, Люся, о-о-очень хороший человек. – И стала проникновенно и как-то по-партийному трясти мою руку. – Виталик! – закричала она. – Как его отчество? Виталик Виталикович! Вы в надежных руках!

– Тьфу, дура... – не выдержала я.

Развеселившуюся Симу кое-как удалось нейтрализовать. Сова стояла в углу, моргала глазами, искала момент ушмыгнуть в свое логово. В руках она держала добычу ночи – тарелку с холодцом.

– Люся, можно я с собой заберу, дома доем?

– Забирай, Элечка, забирай. Хочешь, сушек еще возьми?

Подойдя попрощаться с Виталиком, Сова вдруг уронила голову тому на плечо.

– Как же быстротечна наша жы-ы-ы-ызнь! – завыла она. В молодости Сова играла в театре и драматические навыки у нее сохранились.

Последней встала из-за стола Римма.

– А где молодожены? – И выпустила серое едкое облако.

Ну вот, вроде как все разошлись. А куда делся этот шкет в кепке? Только что тут был... Наверное, ушел так же, как и явился, – встал под лампу, да и того, катапультировался на свою планету Плюк. Я пошла мыть посуду, и вдруг смотрю, а он в спальне на моей кровати разлегся! Как был в одежде, даже свою кепку не снял. Ну, думаю, пусть маленько полежит, оклемается.

– Лю-юсь, – слышу с кухни, кричит. – Люсь, принеси боржомчику, будь добра, что-то меня от холодца твоего совсем скрутило...

Ишь, холодец ему мой еще не понравился, во дает... Может, подсыпать ему что, в этот боржом его? Да что я ему туда подсыплю? Разве что слезы свои... Принесла ему воды, а он в плед, как в кокон, уютно укутался, лежит, только кепка сверху торчит, ну вылитый желудь! Делать нечего, пусть лежит, прорастает. Главное, чтоб корни тут не пустил... А я пойду на кушетке лягу... Только посуду сначала домою, а то целая раковина вон накопилась, откуда только, ума не приложу...

16.07.2020
Амстердам

МЕДВЕЖИЙ МОНАСТЫРЬ

МАКСИМ ШМЫРЁВ
Поэт, писатель, историк. Окончил Литературный институт имени Горького, аспирантуру. Имеет ряд публикаций по истории и культуре периода Первой мировой войны, русской и зарубежной литературе.

Автор романов «Гавань», «Устье» и «Ключ». Занимается архивными исследованиями по военной истории 1910–1940-х годов. В сфере интересов — европейская монархическая традиция, правые политические движения и искусство.

Аще бо и пойду посреде сени смертныя,
не убоюся зла, яко Ты со мною еси.

Псалтырь

Это был разбойный медведь, медведь-разбойник; когда-то его еще медвежонком взяли из берлоги, а потом водили с собой по Руси забавники-скоморохи, пока не пропали все куда-то, а он долго плутал, пытался было плясать в деревнях, но в него пускали стрелы, и он бежал в лес, где голодал и томился – шутовской медведь, медведь-неумеха. Ходили слухи, что он перебил в лесу разбойников, которые для смеха напоили его водкой – после этого и начал набеги. Другие считали, что это сам атаман, исчезнувший со своей бандой: перевороти-лись в медведя, волка, лису и сову, рыщут по округе. Медведь грабил курятники, разорял ульи, губил скот. Чтобы умилостивить его, на околицах оставляли дань, а когда в лесу слышался топот и рев, далеко обходили это место: «Атаман пляшет».

...Он шел после очередного грабежа: в курином пуху, в приставших яичных скорлупках, и тут сердце дало перебой. Оно задержалось, и медведь осел на землю, всей грузной тушей, словно бы ножи вонзились в грудь, те самые ножи, что блестели ночью у разбойного костра и миновали его; теперь эти ножи поворачивались, входили глубже: медленно, страшно, все ближе к сердцу. Загудела голова, будто влетели в нее безместные пчелы из разоренных ульев. Медведь заревел, побежал. Колыхнулся подлесок, слетела с ветки и затерялась в кронах деревьев малая птица. Медведь шел, не разбирая дороги. Боль, отпуская ненадолго, усиливалась вновь. Так он и брел, день и ночь, и еще половину дня, пока не вышел на поляну. Это была обычная поляна, возможно, круглее других полян, вокруг шумели дубы. Медведь встал на ней – ножи снова ударили в сердце – и тут, не сразу, после нескольких сердечных перебоев – почуял запах. Пахло медом, ощущалось тепло, даже жар, но какие-то бывшие, минувшие, некогда присутствовавшие тут во всей силе, а теперь оставшиеся: отзвуком, ароматом, дуновением. Медведь опустился на землю. Его нос уткнулся в маленькую дощечку, стоявшую у дерева, с кругом посередине. Дощечка пахла воском, чуялся в ней дальний медовый запах. Медведь провел языком по деревянному краю. Дощечка была теплой, нагретой солнцем. Он прилег рядом, опустил усталую голову. Казалось, что она болела меньше, но шумел в ней пчелиный рой, а стальные лезвия пытались вонзиться глубже, нащупать жилку, которая связывала его с жизнью.

Медведь задремал. Отвесные солнечные лучи сместились к западу, косо ложились на его шкуру. И – видел он или нет (может, светотень сложилась в образ) – в вечерних сумерках стали видны очер-

Иногда ему казалось, что рядом с ним движется то ли лучик, то ли человек – идет рядом, положив руку на холку. Он привык к этому и не пытался додумать и понять, что тут к чему. Просто шел, и облака плыли то ему навстречу, а то – и от него, светилась среди листьев малина и ежевика, а грибы поднимали сквозь еловые иглы упругие шляпки.

тания, нет – сам человек, невысокий, светлый. Медведь дернулся (будто видел его во сне и наяву), но от человека пахло деревом и медом, как от дощечки, возможно, он сам был частью дощечки, самой дощечкой; он подошел (солнечные лучи протянулись дальше) к нему: бурому, жуткому холму. Слетел лист: рука легла на холку. Медведь почуял тепло. И тут же ножи вошли в сердце и пронзили его насквозь. Но медведь не умер. Он увидел себя на дороге – юным медвежонком – вот он идет с людьми, такими веселыми и нестрашными, крутит головой, видит, как из полевой травы поднимаются птицы и летят к синим облакам, и своим звериным чутьем понимает, что будет дождь. Сердце остановилось, и пчелы, гудевшие в его голове, перелетели в него – тут теперь их новый улей, согласно и мирно загудели кровотоком. А клинки стали апрельскими льдинками: и – тук-тук-тук, истаяли под весенним солнцем. Звенела капель: радостно стучало сердце.

Медведь крепко проспал всю ночь. Когда он встал, со спины слетел и порхнул под куст желтый лист северной осени. Медведь напился из лужи. Он почувствовал себя одновременно молодым и старым – будто бы прожил сто жизней и родился заново. Мягким звериным шагом отправился к реке, где по воде плыли облака. Ударил лапой, раз, другой, выбил звонкие брызги, серебряную плотву. Что-то упало вниз, расплылось кругами по воде: это железное кольцо, проржавев, истончилось, вывалилось из носа, легло на песчаное дно.

Медведь поселился на круглой поляне. Тут и устроил берлогу. Весной начались дела: рыбалка, потом поспела малина, пошли грибы и орехи. Все навыки словно вернулись сами, из той синей ясной теплоты, которую он запомнил в детстве, только стали по размеру его тяжелого бурого тела.

Однажды он нашел много грибов, сразу не съел, оставил на краю поляны. Увидел, что к ним подбирается белка – облезлая белка, выбравшаяся из какой-то передряги. Он не стал подниматься, так и лежал, наблюдая за ней внимательным глазом, тихо дыша. От дощечки пахло особенно хорошо: словно дальние пчелы принесли в ульи нектар чудесных цветов, может быть, и облаков – цветочных, яблоневых, вишневых – пчелы там тоже собирают с них нектар. На следующее утро белка пришла снова, а потом так и прижилась на дереве возле поляны. Иногда она тоже подходила к дощечке и сидела перед ней – видимо, чувствовала что-то нужное, свое, понятное только белкам. Медведь ходил на рыбный, грибной и ягодный промысел, и – как-то само собой, помимо его воли – на поляне собралось много зверушек и птиц – больных, слабых и всяких разных, которым тут нашлось место. Медведь привык к ним и даже пытался что-то рассказать на медвежьем языке: о своих скитаниях, о людях, разбоях, о том, как видел он то ли лучик, то ли человека; ревел и бормотал, птицы и звери не понимали его, но и не боялись, сидели вокруг и слушали исповедь, ясную только ему.

Медведь стал часто бродить по лесу. Иногда ему казалось, что рядом с ним движется то ли лучик, то ли человек – идет рядом, положив руку на холку. Он привык к этому и не пытался додумать и понять, что тут к чему. Просто шел, и облака плыли то ему навстречу, а то – и от него, светилась среди листьев малина и ежевика, а грибы поднимали сквозь еловые иглы упругие шляпки. Они выходили на дорогу: куда-то вдаль катилось безместное деревянное колесо, мельница молола облака, гуси на околице старались освоить прусский гусиный шаг, но не выдерживали равнения, разбредались кто куда. Иногда человек (шепотом листьев, ветровым завивом) что-то говорил медведю. И появлялись у девочки на окне коричнево-желтые медовые соты, а купец, проезжая через лихие разбойные места,

оставался цел – только слышал вдалеке низкий медвежий рев.

...Был тяжелый, военный год. Люди ушли, оставив обгорелые печи на местах деревень. В лес пришла волчья стая – это была кочующая стая матерых волков, закоренелая в преступлениях и человекоубийстве, спутники степных набегов. И все чаще, обходя лес, медведь наталкивался на обглоданные кости, засохшую кровь. Все больше зверей приходило на круглую поляну, оставаясь там или рядом с ней, пережидая тяжелые времена. Медведь привык к ним и делился заготовленными припасами. Он тоже похудел, высох и стал похож на один из дубов, росших вокруг.

И однажды медведь увидел их – десяток волков, окруживших поляну; они шли спокойно и уверенно: лихая, уверенная в себе, всепобеждающая сила. Звери собрались в центре поляны, кто мог, вскарабкался наверх. Птица со сломанным крылом прянула за деревянную дощечку. В кронах шумел ветер, деревья качались, словно долго и тревожно били колокола.

Медведь тоже было хотел влезть на дерево: кружилась голова, щемило и быстро стучало сердце. Но весь малый народ – зайцы-косоглазы, птицы-невелички, еноты-полоскуны – смотрел на него. И он вышел вперед, навстречу волкам.

Ему казалось, что он стал совсем маленьким, словно медвежонок. Но волки увидели другого медведя: перед ними стоял Царь леса в мягком золотом зареве. Его бока вздымались и опускались, он вбирал в себя всю мощь деревьев, рек, звезд. Он стоял: медведь-утес, медведь-скала – словно его пращур в день Творения, огромный и торжественный, он стоял, спокойный – такой, что девочка не испугалась бы покормить его земляникой, грозный: словно отведенный до мыслимого напряжения таран.

Огни волчьих глаз погасли, словно наступило утро, и задули огонь. Больше никто не слышал об этой стае. Вороны галдели между собой, что видели волка, бегущего что есть мочи через поле, но может, это и послышалось белкам, перебиравшим в дупле орехи.

По весне медведь почуял, что жизнь возвращается в эти края. Люди ставили новые избы, звенел и расцветал лес, перекликивались дети, идущие по грибы-ягоды. Он набрал земляники и оставил на куске березовой коры для девочки-синеглазки, которая весь день гонялась за бабочками: подложил ей под ноги, когда она шла домой с тремя ягодками в руке. Принял на поляне новых зверей-странников. Но его самого уже тянуло отсюда: он знал, что дальние пчелы в дощечке припасли для него соты с малиновым и яблоневым облачным медом; он видел, что круг на дощечке расширился, и теперь это уже не круг, а ворота, в которых стоит большой медведь – может, его пращур, может, мать-медведица, а может, и он сам, еще тут, и уже там; а с ним, с ними – рука на холке, идет человек, движется по дальним холмам луч восходящего солнца.

Однажды утром звери не увидели медведя. Он делся куда-то: сороки обыскали весь лес, но потом разлетелись по своим делам. Внимательный дятел обнаружил, что у поляны появился новый дуб, попытался продолбить его клювом, но в дереве не было жуков, ни одной червоточинки, и он улетел на соседние деревья. Звери и птицы так же жили на поляне, делясь припасами, как завелось при медведе. Стояла у дерева дощечка, алея и золотясь на солнце. И никто не испугался, когда из чащи выбрался ободранный и страшно исхудавший волк, прильнул к дощечке носом, долго и шумно дышал. Он так и остался там: верным сторожем при медвежьем монастыре.

ГОНЕЦ

И даже волк не плох.
Борис Зайцев

Вечером шумело поле, шумела трава, может быть, шел кто-то через него к дальнему дереву, раскинул руки крестообразно, а потом опустил, вниз, на траву, так и шел – к дальним тучам, облакам, где ждала, вечеровала гроза, вот она – молчит, безмолвствует, чтобы утром полыхнуть ярким пламенем. Растягиваются, тянутся длинные тени, закатные крылья – они словно бы запахивают весь этот мир – в тихие крылья тени, в мягкие объятья ночи; и ночь всюду, но в ней тоже движенье, учащенное сердцебиенье – волки выходят на охоту.

...Вниз струился песок, он пытался ловить его языком, но песок набивался в рот, он отфыркивался, мотал головой. Он был серым волчонком, в логове на поляне, где бугрились корни деревьев, возможно, уходящие до самого сердца земли, но его не заботили корни, ведь он был волчонок, не какой-то заяц, петляющий в страхе по полю; он возился и играл, прыгал высоко, почти до солнца, почти до облаков: легок, почти невесом. Он крался к ручью, прыгали и исчезали лягушки, круги шли по воде, он опускал в нее нос, расходилась зыбь, смыкаясь с кругами рыб, ищущих жучков, бьющих хвостами в лесной тишине. Он запомнил подтаявшие сугробы марта, когда солнце поворотилось на весну, и волки, исхудавшие за зиму, мчались по лесу: легкой серой тенью. Тогда он стал частью стаи, молодой стаи – матерые волки погибли в облавах, а теперь облав не было, потому что шла война, через лес двигались обозы, вдаль шли воины, а назад возвращались раненые, некоторые умирали прямо тут, в лесу, и оставались среди деревьев – белыми костяками. Стая была молодой и дерзкой, она резала скот, заходила в деревни. Однажды ночью она задрала маленькую собачку у смешно, пестро одетых людей – скоморохов, – и утром маленькая девочка горько плакала, держа в ладонях окровавленную мордочку. Лес неодобрительно шумел, лес скрипел ветвями и качался, лес не любил жестокость и своеволие – но они бежали через него, молодые и смелые, казалось, что все доступно им, что они и есть настоящие хозяева леса.

Однажды зимой они увидели санный путь и побежали по нему, играя и развлекаясь – они не были голодны, – они бежали по санному пути, а потом их увидел возница и стал что есть мочи настегивать лошадь, но это была слабая старая лошадь, все молодые уже ушли на войну, она бежала, как могла, немощно, по снегу, а волки легко догоняли ее, потом немного отставали и догоняли снова. Их веселило это – крики возницы, жалкий бег лошади, возможно бы, они отстали, свернули в лес,

но азарт погони захватил их, и вот волк вскочил в сани, второй прыгнул на лошадь, остальные за ними.

После человекоубийства мощная жестокая сила словно бы вошла в них, опьянила их: они неслись, лаяли и выли, а над ними мертвенно сияла луна. Спустя несколько дней стая атаковала обоз, который перегонял скот. Но перегонщики были воинами: из длинных луков они перестреляли почти всех волков: ушел только он один. После этого волк стал одиночкой, холодным беспощадным убийцей. Сила, которая вошла в него, только умножилась, дополнилась хитростью и осторожностью. Его зрение и слух многократно усилились: он слышал, как белки перекатывают в дуплах орехи, как разгораются в небе звезды, как пчелы опускаются на цветы. Он видел, как у лесной реки останавливаются светлые, почти прозрачные всадники, как кони опускают головы, пьют густую, замерзающую воду ноября, он бежал от них в страхе – но на холме останавливался, смотрел, как они разворачивают коней, едут вдаль. Он стал известным в округе, даже знаменитым; им пугали детей, тем более он уже не был серым волком – после налета на обоз он побелел, словно пристали к нему снежинки ноября, словно стал он тенью зимы: холодом, морозом, частью стылых ледяных просторов.

Пришла весна, лето. Волк бежал по лесу – направо была опушка, зеленая, шумящая, его – волка – тянуло туда, но сила – она настоялась, стала крепкой, круто заваренной внутри, – она влекла его в другую сторону, где орешник смыкался зеленой аркой. Он пошел туда. Что-то страшное и сладостное представлялось ему. На тропинке, сразу за зарослями орешника, он увидел девочку. Это была простая девочка с корзинкой, она смотрела в сторону – то ли на белку, взбегавшую по дереву, то ли на колышущийся лист, – но потом повернулась и увидела его. Она не кричала, нет – просто смотрела на волка синими глазами, она подняла корзинку чуть выше, так и стояла – белый сарафан, потом корзинка, потом шляпки грибов, глаза и платок. Волк хотел было убежать, прыгнуть в сторону, затеряться в подлеске. Лес тоже смотрел на него: дуплами, беличьими глазами, огоньками земляники из-под зеленых листьев. Девочка прошептала что-то. Сила, толкавшая его вперед, ослабла, ее почти не было. Волк отступил назад. И тут ему показалось, что все – эта крошечная девочка, этот лес, даже дупла, даже грибы, – смеется над ним. Он вспомнил, как, отчаянно труся, убегал от обозников, а за ним хрипела и кувыркалась умирающая стая. Он вспомнил, как рванул тулуп возницы, как вырвался клок материи, и ниже, под ним, полилась кровь. И он прыгнул. Разлетелись в разные стороны грибы, белка помчалась вверх по ветвям.

После этого дня он почувствовал, что его нет. Точнее, он есть, но сила, которая была в нем, теперь поглотила его, это она направляла его, заставляла идти на новые набеги, его – поседевшего как лунь, огромного волка, которого крестьяне считали оборотнем и карой, – но он не был карой, он был страшно одиноким, выжженным изнутри зверем, и каждая жертва, каждая новая жертва скрипела на его зубах так, будто он пожирал свои кости. Жизнь перестала его интересовать, он не видел лета, осени, зимы и весны, он рыскал по лесу, а лес шумел, и ветви отстранялись от него.

Однажды он увидел медленно едущего всадника. В то утро ему было особенно плохо: болели старые раны, а внутри перекувыркивалась жуткая, истончившая его сила. Всадник плохо держался на лошади, он был тяжело ранен, умирал, и лошадь хромала, почти падала – и волку вспомнилась та немощная лошадь, которую они задрали зимой. Всадник упал, чуть позже, чуть дальше, пала лошадь. Он подошел ближе. Ему было не страшно – с силой он позабыл про страх – ему было тревожно, смутно: будто перед бурей ветер треплет деревья. И вдруг он увидел девочку – ту самую девочку, которая стояла возле всадника. Она стояла так же как раньше, те же синие глаза, только вот сарафан был не белым, а красным, она просто стояла и смотрела на него – ровный свечной огонек посередине леса. Смотрел и волк. Подошел ближе. Сила в нем тащила его отсюда, скорей, дальше, еще дальше, к тучным стадам, которые будут его – да, все его! Она уводила его, она напрягала все силы и почти добилась своего, добилась бы, если бы волк вдруг не съежился, не стал маленьким – вспомнил себя у корней дерева, когда он прыгал и был почти невесом, жуков и дятла на вершине, вспомнил волков; вспомнил себя и сделал еще шаг вперед. У руки мертвого воина лежала берестяная грамота. То ли девочка протянула ему ее, то ли волк сам понял, что должен взять, – но он зажал бересту в зубах и побежал – куда-то, сам не зная куда. Боль от ран усилилась, она была почти непереносима – его прошлая мощь обратилась в слабость, тянула его к земле, но изнутри поднималась другая сила – он ощущал, предчувствовал это – она поднималась широкой волной, теплотой, светом.

Когда волк выбежал на опушку, то увидел всадника – светлого всадника, который был у реки, но не испугался, а последовал за ним. Был день и вечер; вечером всадники на маленьких степных лошадях пустили в него стрелы, и две попали, торчали в боку и в ноге, но он спешил, чтобы не потерять всадника, он хотел пить, но боялся выпустить бересту из зубов и тыкался носом в замерзшие лужи. Ночью он сбился с пути, положил бересту у лап, долго и горестно выл, а его былая сила ходила черной тенью, мертвенной рыбой где-то внутри, на глубине. Потом пошел снег, он увидел отпечатки копыт и побежал дальше, бездумно – в село, куда уходил след. На улице люди шарахались, разбегались – быстрые тени: ему казалось, что кругом пляшут всадники на маленьких лошадях и пускают стрелы. Но волк двинулся вперед. Широкая ясная волна, которая поднималась из глубины, плеснула наверх, мертвенная рыба вылетела куда-то, осталась биться среди сырых сугробов. Он бежал, ему казалось, что он молод – в синих, чуть золотых сумерках, по груди хлещет трава, он упоен бегом, прыгает вверх, взлетает: легок, невесом. А где-то впереди стоит девочка – стоит не двигаясь, ясным свечным огоньком пламени, и эта теплота, эта радость – синева ее глаз, которые несут его листом по ветру, все выше, легким дымом – за крыши изб, за верхушки деревьев.

Он бежал по улице – исхудавший, окровавленный волк. Упал в центре села, из пасти выкатилась берестяная грамота. Люди подошли ближе, кто-то прочел, мальчик побежал к городским воротам. Вскоре из них вышла дружина: копыта коней взрыхлили волчьи следы. Если бы волк еще мог видеть, то он бы разглядел, как к воинам присоединился сияющий всадник – ярким быстрым всполохом, ведущим их к границе.

Город уже не ждал помощи. Несколько гонцов было отправлено, но, видимо, никто не добрался до столицы, не сообщил о набеге. Защитники города дрались у ворот, выбитых тараном, когда дружина князя – со знаменами, трубящими трубами, опущенными копьями, в летящем во все стороны снеге, – вылетела из-за холмов. Бой был жестоким, он шел весь день, он продолжался вечером, и только ночью знамена защитников города и дружины сомкнулись.

Многие воины пали. Внезапно, неожиданно – пораженные стрелой, мечом, – они видели, словно бы их взгляд вдруг обрел резкость, будто бы они прозрели – светлого всадника у хоругви, а за ним, дальше и выше, то ли среди полей, то ли среди облаков – далеких и близких – яркий луч, светлое зарево. Они разжимали руки, отпускали рукояти оставшихся в прежнем мире клинков, смотрели вперед – где их ждала, встречала девочка в алом сарафане, положившая руку на голову огромного белого волка.

...Шумит поле, веет ветер, словно идет кто-то по траве – к высокой березе, а вдалеке собирается гроза. Говорят, давным-давно тут похоронили чудесного волка, и с тех пор грозы обходят стороной это место, и молнии не бьют в одинокое дерево посередине поля.

РЫЖИЙ ОГОНЕК

Это была белка, рыжая белка, и про нее пели дети: «Дуб – как черный уголек, сверху – рыжий огонек», потому что недалеко от дома стоял старый дуб, тяжелый дуб, в который давно попала молния, он обгорел, треснул, но все же откуда-то сбоку пошли зеленые ветви, он снова расцвел, зазеленел, а по нему – прямо в сад – перескакивала белка. Она бегала сюда за орехами – возле дома рос орешник, она срывала орехи и уносила в свой тайный лесной домик, а тут – по саду – быстро скакала и веселила детей, которые смотрели на нее, иногда давали ей орехи, она осторожно брала их и убегала прочь.

Однажды девочка в доме заболела – другие девочки бегали по лестницам и залам, шуршали платьями, а она болела – лежала в комнате и смотрела в окно: то на опадающие листья, то на дожди, то на звезды. Кто-то в доме решил развлечь ее, сделал ловушку, и когда белка прискакала за орехами, поймал и принес в комнату девочки – белку, запертую в клетку. Девочка протянула к ней руку, но белка забилась в угол, оскалила зубы – дикий лесной зверек.

Однако со временем она привыкла к этому дому, к его укладу. Люди не замечали, а она замечала – своим острым зрением и слухом – как в ночном доме тихо вздыхали оконные занавески, колеблемые сквозняком, скрипели лестничные перила, как остывали и трещали угли в печи. Белка ощущала, что дом похож на лес, только зачарованный. Дом жил, и крыша поскрипывала, шуршала – словно огромная птица собиралась расправить крылья. В дальней комнате женщина долго молилась, потом выходила в сад с керосиновой лампой, вокруг нее кружились мотыльки – легкие, светлые, будто помянутые души усопших. А утром открывались бутоны цветов, моросил дождь, и пчелы летели между каплями. Может, белка и не обращала особого внимания на окружающие вещи, а просто заинтересовалась девочкой, которая лежала в постели: у нее были рыжие волосы, а веснушки на бледном лице казались звездами, мерцающими сквозь туман.

Когда белка прижилась, ее стали выпускать из клетки: на кровать, на шторы – белка забиралась по ним и прыгала вниз, потом снова наверх, это было такое радостное мельтешение, что девочка смеялась, и ее рыжие волосы разлетались по подушке. Еще девочке читали сказки и истории: каждый вечер. Белка тихо сидела в клетке, слушала. Возможно, если бы у нее была голова, как у слоненка, и больше ума, она бы запомнила, как корсары зарывали сокровища и поднимали флаги над Карибским морем, как катился клубок за тридевять земель, как потом возвращались – такими же клубками – царства золотое, серебряное и медное. Как мальчик и девочка зашли далеко в лес и, чтобы не заблудиться, бросали на дорогу камушки и хлебные крошки. Возможно, она и запоминала что-то – не

рассудочно, не умственно, – самые хорошие и интересные истории входили в ее сердце, беличье быстрое сердце и неслись сквозь него в кровотоке, подобно быстрому колесу.

Девочка уже не вставала, и белка – привыкшая к ней – спала на подушке, около ее рыжих волос. В один из весенних дней, когда гудели колокола, в комнату вошел седой человек. Он поговорил с девочкой, поднес ложечку к ее губам. Потом взглянул на белку: пристально, добро – словно знал ее. Затем в комнату заходили другие люди, белка боялась их и пряталась в глубине открытой клетки, пока не остались двое – мужчина и женщина у кровати. Тогда она выскочила и подбежала ближе. Мужчина и женщина плакали, но белка своим острым зрением видела не только их. Она увидела, что стены комнаты раскрылись, и кто-то – огромный, но умалившийся – вошел в нее. Он подошел к кровати и взял девочку – почти прозрачную, невесомую девочку, словно принял в ладони рыжий огонек, который озорно подмигнул белке – искровым всполохом. Белка сидела у кровати и смотрела, как удаляется он и она: грозовая туча и трепещущая зарница.

Белка жила в доме еще несколько дней. Потом человек вынес клетку во двор и открыл дверцу. Белка немного помедлила, а потом выскочила наружу, забралась на забор, перепрыгнула на дуб и скрылась в лесу. Она долго жила там – в беличьих радостях и печалях, собирая грибы и ягоды, выращивая бельчат. Иногда она прибегала к дому за орехами, порой ей казалось, что рыжая девочка смотрит на нее в окно, она подбегала ближе, но это был просто блик на стекле, солнечный луч, который пронизывал ветшающий дом.

Поздней осенью белка скакала по деревьям домой. Она была довольна собой: дупло было заполнено припасами, и снегопад не пугал ее. «Ау, ау», – кричал кто-то, сначала тихо, потом громче, прямо по дороге. Вскоре белка увидела: у дерева стояли девочка и мальчик, совсем обычные девочка и мальчик, только очень растерянные и испуганные – они потерялись. В руках мальчика было деревянное ружье – возможно, он решил поиграть в охотника, зашел с девочкой в лес (шаг за шагом от опушки) – в поисках драконов или огромных черно-бурых лосей, но потом они потерялись, и вокруг не оказалось ни драконов, ни лосей, а только опадающие листья, медленный снегопад. Белка было побежала дальше, но потом остановилась. Ее сердце застучало чаще, оно становилось шире, горячее – словно бы закрутилось в нем огненное колесо, и белка спрыгнула с дерева на землю перед детьми, побежала вперед – показывая им дорогу к деревне. Но мальчик и девочка не замечали ее. Они устали и проголодались, почти задремали у тяжелых корней – они не обратили внимания на белку, маленький огонек.

Белка скакала по заснеженной земле, лучи солнца освещали ее – она стала рыжей, такой рыжей, какой не была никогда в жизни. И тут этот свет, куцая беличья память, ее быстро стучащее сердечко сложились в решение, и белка поспешила к своему дуплу. Когда она вернулась, дети еще дремали. Прямо перед ними белка бросила орех, чуть дальше другой, за ним – третий, четвертый, пятый.

Рыжий солнечный луч посветил детям в глаза – они проснулись, стряхнули снег: перед ними была ореховая дорога, дорога, размеченная орешками. И они пошли по ней: весело, поднимая с земли и разгрызая орехи, подобно маленьким Щелкунчикам, они шли, и лес становился реже, а орехи никак не кончались, иногда среди них попадались сушеные грибы, они решили собрать их – орехи и грибы, угостить родителей, друзей, знакомых: всех, дать им часть этой чудесной дороги! Вскоре они вышли на опушку, увидели деревню и побежали к ее теплым домам.

В лесу шел снег. Белка пыталась найти орехи, которыми она разметила дорогу. Но они никак не находились – большую часть съели или забрали с собой дети, некоторые прикрыл снег. Она нашла только один орех из опустевшего дупла – на всю долгую зиму. Белка взяла его и побежала по тропинке. Если бы у нее было чуть больше ума, она бы поняла, что бежит с единственным орехом навстречу смерти. Но она не знала об этом и просто бежала вперед.

...Тропинка оставалась такой же, но в воздухе что-то менялось, в нем появлялись запахи, вкус – засушенных грибов, цветочный аромат – словно бы снежинки стали пчелами и несли собранный нектар на поляну, которая открылась перед ней. Вокруг этой круглой поляны на ветках деревьев были нанизаны грибы, возле дуба горкой лежали орехи, а у дальнего края, спиной к белке, стоял седой человек, на которого падал вечерний луч солнца. Он обернулся и посмотрел на белку – пристально, добро, словно знал ее.

Юность №1
Январь 2021

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

МАРИНА СТЕПНОВА: «ВСЯ ЛИТЕРАТУРА — ЭТО ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ВОРОВСТВО»

ЕГОР АППОЛОНОВ
Журналист, автор книги «Пиши рьяно, редактируй резво» («Альпина Паблишер», 2019), главный редактор журнала «Аэроэкспресс».

МАРИНА СТЕПНОВА
Писатель, преподаватель. Родилась в городе Ефремове Тульской области, жила в Кишиневе. Окончила Литературный институт имени Горького и аспирантуру Института мировой литературы имени Горького. Автор пяти книг, лауреат премии «Большая книга».

Марина Степнова рассказала Егору Апполонову о писательской схиме, страхе увядания, писательском счастье, сексе со словом и одиночестве писателя.

– **Почему вы продолжаете создавать тексты и не бросаете? Что вас мотивирует продолжать этот нелегкий труд?**

– Хороший вопрос, я часто себя спрашиваю: зачем мне, собственно, все это нужно. Единственная, наверное, реальная причина в том, что мне жалко времени, тяжело дается написание текстов, жалко жизни, ужасно жалко жизни, которая тратится на создание текстов. Я совершенно не тщеславна, поэтому успех или неуспех не влияет на мое решение продолжать. Я люблю рассказывать истории, очень люблю сочинять. Если можно было бы напрямую транслировать мысли во внешний мир, минуя фазу написания текста, или сделать так, чтобы история записывалась сама, я была бы счастливейшей из смертных. Но поскольку это невозможно, приходится записывать историю, чтобы она ожила. Кроме того, я упертая. Многим слабым, безвольным людям упрямство заменяет характер. Это мой путь. Я совершенно безвольный человек, тряпка, но при этом очень упертая. Когда любой нормальный человек пожимает плечами и отходит, я продолжаю бросаться на стенку. Я ведь уже начала текст, и надо его закончить.

– **Это личный вызов самой себе? Чехов сказал: «Писательский зуд неистребим». Есть еще такое высказывание, я очень его люблю: писатель – это любитель, который не бросил. В вашем случае упорство – следствие того самого писательского зуда, о котором говорит Чехов, или это упорство в чистом виде, чтобы доказать себе: я могу это сделать и довести начатое до конца?**

– Это точно не чеховский писательский зуд, нет. Это, скорее, эдакая помесь упрямства, упорства с воспитанием. Меня воспитывали, что бросать дело на полпути нельзя. Мне говорили: это неправильно. Можно, конечно, бросить, но это неправильно. Поэтому я обычно доделываю все начатые дела. Да, бросаю иногда, конечно, разумеется, я же не сумасшедшая. Но это, скорее, ис-

ключение. Даже когда я играю в компьютерные игры, я стараюсь пройти игру от начала и до конца. Вот это уж, конечно, воспитание, дрессура в чистом виде. Срабатывает императив: начала – надо закончить.

– **А книги, которые вам не нравятся, вы дочитываете?**

– Перестала. Раньше всегда дочитывала. А теперь взрослая стала и экономлю время. Плюс у меня огромный массив текстов, которые я дочитывать обязана, студенческих работ. Не важно, нравится мне текст или не нравится, я должна его прочесть. Не просто прочесть, а проанализировать, дать обратную связь. Чтобы оставить на это время, теперь, если книга или фильм не нравятся, сразу бросаю. Я говорю книге или фильму: я тебе даю шанс. В случае с фильмом хватит и пяти минут. В случае с книгой – нескольких страниц, чтобы понять, понравится мне или нет.

– **Интересный, на самом деле, вопрос – критерии хорошей книги. Действительно ли качество текста определяется с первых страниц? Кто-то говорит, надо прочесть 30–50 страниц, кто-то говорит, что двух достаточно. В какой момент в вашем случае приходит понимание, что книга достойна, чтобы ее прочесть, что это история, которую хочется прожить и пережить?**

– С первой секунды, как я взяла книгу. Смотрю в нескольких местах. Никогда в конец – всегда к иду финалу терпеливо, как положено. Многие читатели ведь сначала узнают, чем все закончится, а потом уже решают, стоит ли туда идти. Не делаю так никогда. Если везде гарантированно, с моей точки зрения, хорошо написано, чувствую, что меня взяли за ногу и подергивают, тогда продолжаю чтение. Вообще, люблю читать электронные книги, это удобно, не таскаешь с собой все эти талмуды, плечо не вывихиваешь. Хватает страниц 10–15 последовательного чтения, чтобы понять, хочешь быть с этими людьми, в этом месте, в этой ситуации, или нет. Сильный текст берет тебя и утягивает куда-то. У сильного текста своя власть, свое обаяние, и они проявляются на первых страницах. У слабых текстов этой власти нет.

Впрочем, магия в том, что текст одного читателя захватывает, а другого – нет. Это такая система отмычек и замков. Очень сложная система. Меня забавляет, что никто не знает, как это работает: ни тот, кто продает, ни тот, кто пишет, ни тот, кто читает. Кто поймет, как это все устроено, будет делать бестселлеры и станет великим.

Когда ты пишешь, ты понятия не имеешь, что будет с текстом, когда ты закончишь. Безумно похоже на отношения с людьми. Бывает, смотришь на человека, тебя кольнуло. Ощущение называют словом «химия». Но это не всегда химия, ведь химия все-таки предполагает некий контакт – для обмена молекулами нужно расстояние. Иногда же ты буквально на экране видишь человека и понимаешь: у вас что-то может быть. Это история не про сексуальные отношения. Она о том, что в каких-то точках вы соприкасаетесь. Почему, как, зачем? Ответа нет. А тяга есть. С книгами ровно так же. Либо есть магия, либо нет. И это абсолютно непостижимая вещь.

– **Когда вы пишете, вы можете эту энергию нащупать и управлять ею, понять, что текст живой? Становится ли эта энергия следствием вашего упорства или же изначально текст содержит в себе некое зерно, которое прорастает впоследствии с вашей помощью, потому что вы не бросаете?**

– Упорство приходит на смену страсти, которая выступает изначальным импульсом. Я, как правило, бросаю читать книги в первую очередь бесстрастные, написанные с «холодным носом». В основе сильного текста всегда лежит страсть. Как можно десять лет писать и не испытывать к тому, что пишешь, никаких эмоций? Когда я пишу, мне страстно хочется узнать, кто эти герои, что с ними, зачем все это происходит, чем закончится история.

Начиная рукопись, я выступаю в статусе читателя – не знаю, чем все закончится. Могу заранее придумать и спланировать что угодно. Но в какой-то момент текст начинает мной управлять. Некоторые авторы в такие моменты спорят с текстом, ведь план уже придуман, а значит, ему стоит следовать. Но я считаю, что лучше расслабиться, отпустить историю. Алексей Поляринов давал интервью студентам ВШЭ. Рассказывая о романе «Риф», Алексей сказал, что в какой-то момент главный герой Гарин начал выходить за рамки писательского замысла. Алексей жестко эти маневры обрубил. В итоге получилась книга очень простроенная, хорошая, но... Сам Поляринов сказал: «В какой-то момент я понял, что роман стал слишком симметричным. Но что получилось, то получилось». По моему глубочайшему убеждению, так делать нельзя. Да, ты можешь вогнать текст в рамки, хотя бы потому, что он без тебя, творца, безъязыкий, бессловесный. Эдакий гул, стихия. Но если ты начнешь управлять текстом, ты все, конечно, испортишь, изуродуешь. Гулу, в котором лежит упомянутая страсть, стоит дать волю.

– **Не является такое отношение к тексту признаком нездоровости пишущего человека, который берет и все время уходит от действительности?**
– Да, безусловно. Нормальные люди книг не пишут. Я не думаю, чтобы это была такая, знаете, совсем уж патология… Хотя писатели мастера доводить себя до крайней точки – когда надо уже капельницу ставить, санитаров вызывать. Любой пишущий человек отчетливо сдвинут по всем швам в ту или иную сторону. Это очевидный факт. Нормальных среди нас нет, счастливых среди нас нет, но это побочный эффект того, чему ты посвящаешь жизнь.

Правда, тут возникает интересный вопрос. Что есть побочка? Мы пишем, а потому трогаемся рассудком или мы изначально двинутые и потому пишем? Симптомы ведь совпадают. Когда ты начинаешь расспрашивать коллег по цеху, когда начинаешь читать мемуары писателей. У всех начинается примерно одинаково, клиническая картина изменений действительно всегда одна.

– **Да, меня всегда очень интересовал вопрос, где эта исходная точка. Виной всему некоторое нарушение, возникающее при рождении, или же деформация среды, в результате которой ты садишься и начинаешь писать тексты? Вы, в частности, сказали, что на вас очень сильно повлияло воспитание. Как вы считаете, эти смещенные предустановки, они появляются в момент, когда человек рождается, или это случается чуть позже? Я искал ответ на этот вопрос в творчестве любимых писателей – в какой момент этот слом происходит. Я ведь тоже считаю, что писатели не совсем здоровые люди – изолируют себя от среды, доводят себя до крайностей, чтобы закончить текст. В какой момент, на ваш взгляд, случается это изменение, приводящее к тому, что ты сидишь и пишешь?**
– Мне кажется, это совокупность факторов. Воспитанием объяснить тягу к письму было бы слишком просто – тогда бы писателей было бы гораздо больше. Ребенок должен родиться с некой предрасположенностью. В первую очередь это лингвистический слух. А еще – определенная чувствительность, определенное состояние нервной системы, которые так или иначе раскачиваются средой. Но раскачать человека можно лишь, если у него определенный характер, определенная нервная система. Дальше будущий писатель попадает в среду, где все культивируется. Например, ребенок попадает в мир, где все читают, обсуждают прочитанное, где интересно говорят о книгах, где все сосредоточены на литературе.
– **Много писателей вышло из книжного шкафа.**
– Да, это так. Но есть и другой сценарий. Человек попадает в ситуацию, когда все оставили его в покое или даже бросили. Когда ребенок сосредоточен на себе и на окружающем мире, у него есть сколько угодно возможностей за

У будущего писателя должен быть особый взгляд на мир. Если уйти в сторону естественности, то, мне кажется, виной всему некая биохимия, устройство нервной системы, конституция. Ребенок не должен быть совсем уже великолепным, жизнерадостным сангвиником. Писателей-сангвиников мало. Сангвиник – это человек, который наслаждается жизнью. В нашем случае наслаждение – некий дефицит.

этим миром наблюдать. Никто не водит ребенка на развивашки, на теннис, на английский. Лучший момент – это когда ребенок сидит и просто смотрит в одну точку. В этот момент его душа растет, воображение работает. Потом ребенок очнулся – и задает тебе вопрос, который выводит тебя из равновесия. Резюмирую: мое мнение таково – ты рождаешься с некими предустановками, которые прорастают в определенной среде. Если нет предустановок, можно сколько угодно биться над текстом, но вряд ли ты станешь хорошим писателем. Не каждый ребенок с музыкальным слухом, с невероятными пальцами, с невероятным упорством становится виртуозом.

– **Коль скоро мы заговорили о музыке, приведу в пример Дениса Мацуева или Рюити Сакамото – двух, без сомнения, гениальных пианистов. Врожденная гениальность плюс среда.**

– Да, хорошие примеры. С литературой также. Ему должно быть чем писать, этому ребенку. У будущего писателя должен быть особый взгляд на мир. Если уйти в сторону естественности, то, мне кажется, виной всему некая биохимия, устройство нервной системы, конституция. Ребенок не должен быть совсем уже великолепным, жизнерадостным сангвиником. Писателей-сангвиников мало. Сангвиник – это человек, который наслаждается жизнью. В нашем случае наслаждение – некий дефицит. Или ты сам его себе создаешь. Писательство – схима. Мы готовы отказаться от множества реальных вещей ради вещей нереальных, несуществующих. Никакой надежды на успех нет. Никто ведь не гарантирует, что ты вообще хоть что-то получишь. Многие из нас и не получают. Самое страшное не то, что твою книгу не напечатают. Самое страшное – это когда книгу напечатали и никто ее не заметил.

– **Но можно написать вторую, и здесь как раз на помощь приходит то самое упорство.**

– Да, и третью, и четвертую, и пятую, и продолжать писать. И это значит, что ты пишешь для себя.

– **Сразу вспоминается Сэлинджер. Он как-то задал вопрос Уиту Бернетту, редактору журнала Story, который стал его первым ментором: «Что значит быть пи-**

сателем»?» Бернетт ответил, что нужно ответить лишь на один вопрос: «Если ты будешь знать точно, что тебя никогда в жизни не опубликуют, продолжишь ли ты писать или нет. Если ответ “да”, значит ты писатель».

– Я этого не знала. Я все время своим студентам ровно так же и говорю. Это очень простой тест. Еще прибавляю: если вас никто никогда не напечатает, никто никогда не прочтет, все написанное навсегда остается у вас в столе, будете продолжать?

– **А что на такой вопрос отвечаете вы?**

– Я секунды не думаю. Отвечаю: я буду продолжать. Что же касается студентов, то не все готовы на такой сценарий. Есть те, кто совершенно точно к такому сценарию не готов. Это ведь особенное поколение. Поколение лайков. Им надо, чтобы ими восхищались, носили на руках. Чтобы выдали вымпелы, флажки и премии. Многим это очень нужно. Такие люди первый самый текст подают на все премии, которые только есть. Болезненное желание признания.

– **Вы помните, каким возрастом датируется ваше первое осознанное воспоминание?**

– Да, помню. Я не уверена, что это не наведенное воспоминание, но по ощущениям оно поразительно точное. Мне около трех лет. Маленький городок в Тульской области, хрущевка, трехкомнатная квартира на первом этаже. Я стою на кухне и смотрю на замороженное окно. На подоконнике стоит банка меда. И от нее исходит свет. На банке наклейка. На ней написано «Мёд». Я до сих пор внутренним взором вижу, как нарисованы эти буквы, они были стилизованы под старославянскую вязь. Я читаю вслух: «Мёд». Мама поворачивается от плиты и говорит: «Что ты сказала?» И все, больше я ничего не помню. Поразительно яркое воспоминание. К сожалению, я его «потратила», впихнула в один рассказ.

– **А первое воспоминание, связанное с желанием рассказывать истории? Или, быть может, свой первый рассказ помните?**

– Я уже совсем взрослая была. Я начала писать стихи в 16 лет, а первый рассказ написала, наверное, года в 23. Я поздно начала. Я была девочкой не без способностей – хорошо писала сочинения и так далее. С детства сочиняла истории. Очень любила их рассказывать, но это очень порицалось в нашей семье.

– **Среда была агрессивной?**

– Нет, не агрессивной, меня очень любили. Я поздний ребенок. Очень балованная, желанная.

– **Говоря «среда была агрессивной», я подразумеваю порицание стихов, написание историй и так далее.**

– Это была не агрессия, а несколько иное. Сейчас объясню. У меня была очень строгая бабушка, учительница начальных классов. В ней было вот это советское «я – последняя буква в алфавите». Бабушка говорила мне: «Не якай». Ни в коем случае нельзя было якать. Я сочиняла истории, хотела их рассказывать, а бабушка, только я начинала рассказывать «я была там-то и увидела…», тут же говорила: «Не якай». Я затыкалась. Мне надо было рассказать эту историю без «я». Это было, конечно, изумительное упражнение по creative writing. Я помню, как я запиналась, какая это была непростая задача – рассказать свою историю, не используя «я». Что же касается чтения, то в детстве я читала очень-очень много – это была радость для всех, никто мне этого никогда не запрещал. Наоборот, мне выдавались самые лучшие книги. Родители поздно спохватились, что я читаю взрослые книги, попытались самое критическое куда-то повыше переставить. И тогда я очень живо и естественно научилась туда добираться.

Я росла в блаженной среде. В семье, где все читали, я была своя. Когда мама меня наказывала, она запрещала читать. Так и говорила: «Сегодня не будешь читать». И поскольку я была дисциплинированной и послушной, я исполняла эту волю. Но один раз запретила мне читать на целую неделю – я не помню, что я такого натворила, я тогда была классе во втором. Это было ужасно. Я всегда ненавидела телевизор, а значит, не рассматривала его в качестве альтернативы. По истечении срока я разве что головой о стену не стучала – мне было ужасно, мне было реально нечего делать.

Когда я стала писать стихи, мама, врач, страшно испугалась. Потому что для мамы это было абсолютное нездоровье. Она стала открывать дверь в мою комнату – ведь я стала писать стихи, как и положено подростку, депрессивные, с заламыванием рук, ног, хлопаньем ласт. Ну, 16 лет… Вы же знаете этот возраст.

– **Несчастная любовь?**
– Конечно! Естественно! Чем я хуже других? Конечно, мое сердце было разбито. И тут поперло. Вся эта опара, которая была прикрыта, полезла из кастрюли, да так, что все свистки сорвало. Мама пришла в ужас, и я ее понимаю. Сейчас я бы тоже пришла в ужас. Это был сложный возраст, и мама как врач это понимала. Она очень переживала и очень этого не хотела. Думала, как бы все это остановить. Дверь в мою комнату все время открывала, чтобы видеть, что я делала. Я злилась, захлопывала дверь. Я не понимала тогда ее страхов. А теперь понимаю абсолютно. Плюс мама говорила, что стихами сыт не будешь, – надо как-то к жизни приспособиться. Я ведь тоже хотела стать врачом, все было нормально. И тут, вдруг, и поехали швы, выкройка сдвинулась. Я стала читать бурную, настоящую, большую, взрослую поэзию. Прибегала с вытаращенными глазами и говорила: «Мама, смотри, Пастернак!» Она мне всегда отвечала: «Так, возьми ведро, вынеси мусор». Для меня это было травмой. Хотя опять же, как я понимаю, мама хотела как лучше. Мама делала все правильно. А потом я поступила на филфак, и все как-то смирились, что моя жизнь будет связана со словами.
– **Как вы считаете, есть ли некая предопределенность в писательской судьбе? Вот такие подобные истории, которые определяют, в какой-то момент должен произойти надлом, какая-то боль должна выбраться наружу, чтобы ты сел и стал этот надлом артикулировать в слова?**
– Не надо обольщаться. Первая любовь бывает неудачной практически у всех. Травмы получают вообще все люди. Невозможно вырасти без травм. Если у тебя вообще есть психика в принципе. Травмы начинаются с детства: мама ушла на работу, а ты остался в детском саду. Это достаточная травма. Только кто-то после этого начинает писать романы, а кто-то нет. Все-таки изначально должна быть некая внутренняя струна. Душа должна быть натянута определенным образом на каркас личности.
– **Когда вам запрещали якать, ваше личное «я» не стиралось в такие моменты?**
– Я дошколенком была, не помню, чтобы мое «я» стиралось. Мне было трудно, я это помню. Да, мне было трудно и неприятно. Потому что меня перебивали, а я хотела рассказать историю. Я произносила тысячу слов в минуту, я страшно задирала своих. Теперь я мама и у меня примерно такая же дочка, как я сама. Она висит у тебя на юбке, пока ты чем-то занята, она рассказывает тебе историю. Каша в голове, все герои собрались в кучу, что-то с ними происходит. Висит на юбке и не отлипает. Говорит: «А давай вместе сочинять?» У нее это любимое: давай сочинять.
– **Вы, прошедшая этот путь и осознающая, что это, в общем-то, путь в какой-то степени одиночества, отчаяния… Хотите ли вы пресечь это желание – рассказывать истории?**

– Нет. Ведь это абсолютное счастье. Такая фантастическая, невероятная свобода, которая невозможна в реальной жизни. Это свобода, граничащая с безумием. Ты можешь все, мало того, когда текст берет тебя в лапы и тащит, ты все равно счастлив. Ведь ты среди своих. Ты можешь опомниться, когда вывалишься оттуда и поймешь, что тебя все бросили, что ты сидишь один, 45-летний неудачник с красным глазами, с седыми волосами, абсолютно асоциальный. В этот миг ты можешь почувствовать несчастье, осознать свое несчастье. Но потом ты опять ныряешь туда, в свою историю, и тебя отпускает.
– **Мы разговаривали с Дмитрием Воденниковым, «мертвым поэтом», как он себя называет, и он как раз говорил о гуле, который вы сегодня упомянули, и о том, что когда стихи ушли, это был очень непростой, драматический момент. У вас есть страх того, что уйдут слова?**
– У меня это было. Я же писала стихи. Я начинала со стихов, и они были, как сейчас я понимаю, когда прошел первый ученический этап, весьма неплохие. Мне было далеко до настоящего поэта, но стихи были неплохие, да. В стихах были стихи, скажем так. Я перестала, потому что они ушли. В точности как у Воденникова. Я его в этом смысле очень понимаю. А теперь смотрите: я начала писать в 16, а в 26 все – ты ничего не слышишь. Поэтического гула во мне нет с тех пор. Нет, я могу написать стишок. Дайте мне две минуты, размер, и я напишу. Но это будут мертвые стихи, потому что я не слышу гула. И я очень отчетливо помню, что значит «слышать гул». Удивительно, но я могла писать только на ходу. Помню, я как-то раз осталась дома. Ходила кругами по комнате, сочиняла. Я была в таком состоянии, что, когда проходила мимо шторы, она наэлектризовывалась и вздувалась. В прозе такое бывает крайне редко. Проза – это труд, это такой марафон. В прозе у меня тоже был период «умирания». В какой-то момент я перестала писать. Несколько лет ничего не писала. Ходила с белой пустой головой и думала: «Что ж. Ну, значит, не повезло». Потом я попробовала писать рассказы. Помню свой первый рассказ. Там не было никакого гула. Но было слышно сердцебиение, звучала сильная эмоция. И вдруг оказалось, что так тоже можно. Это другое, но так тоже можно. Вообще, не понимаю, почему Воденников не попробует писать прозу.
– **Он, мне кажется, довольно неплохо реализуется сейчас как эссеист.**
– Да, я имею в виду, почему он не попробует с другой стороны. Может, он и пробует, но ему не нравится результат.
– **Может быть, образ мертвого поэта ему нравится.**
– Да, это такой плащ, в который приятно закутаться.
– **Тем более он назван королем поэзии. Куда уж выше.**
– Возможно, вы правы.
– **Вы сказали, что стихи нужно писать в определенной обстановке. А какая обстановка вам нужна для того, чтобы писать роман? Шум кафе, гул, тишина или вам все равно?**
– Мне все равно. Мне нужно время, и когда оно у меня есть, я могу писать в любом шуме. Много лет проработала редактором в «глянце». У нас был open space, где десяток человек ржали, включали кофе-машину, орали по телефону, задавали вопросы. Все эти вопли корректора «где мои кишки, где мои кишки!»… Я могла в этой ситуации спокойно работать. Привыкла. Чтобы работать с текстом, мне нужно время и чтобы меня никто не тыркал. Я по возможности должна ни на что не отвлекаться: не отвечать на звонки, на мессенджеры. Но я не могу совсем выключить телефон, мало ли. Но когда пишу, даже интернет обрубаю. Врубаешь, когда надо что-то уточнить в тексте. На секундочку запрыгиваю в этот интернет. Уточнила, что нужно по тексту, вырубила интернет и поехала дальше.

– **Не застревается ли там, в интернете, это же такая пучина?**
– Ой, это ужасное болото, которое затягивает. Именно поэтому я стараюсь заранее собирать материал. Потому что иначе невозможно, вы правы. Зайдешь на минутку, и через неделю ты оттуда с выпученными глазами, весь взъерошенный, вылез.
– **С текстом же то же самое.**
– Конечно, только меня на самом деле поразительным образом дисциплинирует реальная жизнь. Мало того, чем сильнее нажим снаружи, тем интенсивнее я пишу. Чем сложнее мне находить эту пару часов, тем эта пара часов эффективнее. Потому что когда у тебя три работы, маленький ребенок, семья, ты очень ценишь свое время. Быт меня не раздражает, я его люблю, это моя жизнь, я очень ей дорожу. Но мне очень нужно иногда нырять в свой колодец. Очень ценю, что рядом со мной люди, которые готовы терпеть это вот зависание. Желание поговорить о тексте, обсудить его. Я мужа обожаю. Он готов выслушивать мои «а как ты думаешь, какая у него фамилия, как ты считаешь?». Это ведь очень важно, какая у него там, в тексте, фамилия. А потом быт захватывает в свой водоворот, и это хорошо. Чем сильнее нажим, тем драгоценнее те несколько часов, которые я выкраиваю для работы с текстом. Хотя я прекрасно понимаю, что отбираю время у дочери, мужа, студентов. Но в такие моменты мне хорошо. Вот – я украла время, уволокла в зубах в свою нору, отгрызла.
– **Писательство по сути эгоцентрично. Мне кажется, в этом вообще вся суть этого занятия: есть среда, которая тебя либо принимает, либо нет. А есть ли у вас необходимость в графике, когда вы работаете, или вам все равно, когда выгрызать эти часы? Есть очень классная фраза: «Вдохновение – инструмент любителя», хирург ведь не делает операцию по вдохновению. А как у вас? Вы можете быстро включиться?**
– Да, мгновенно. Поэтому пишу в те часы, которые у меня есть. На финальном этапе, когда ты понимаешь, что тебе надо дописать книгу, ты стараешься работать по графику. У нас с мужем есть договоренность: у меня выделены дни, я прихожу работать в «Шоколадницу» рядом с домом. Когда я не работаю свою другую работу, я прихожу сюда писать книгу, и все – только книгу. У меня, к сожалению, не очень высокий КПД. Две-три тысячи знаков за пятичасовой рабочий день – это очень здорово. Один раз написала одиннадцать тысяч знаков – это было совпадение свободного времени с припадком вдохновения – так я потом реально больная была. Ужас. Пришло физическое опустошение, как после чудовищного стресса, или когда сдаешь подряд шесть экзаменов. Это было очень тяжело.

Чтобы вернуться в нужное состояние, мне просто надо перечитать две предыдущие страницы. Я такая на полувзводе, я себя в это состояние ввожу, поддерживаю этот полувзвод. Стараюсь не делать долгих пауз, потому что если ты из этого полувзвода выпал, вот тогда тяжело. Упомянутые припадки вдохновения случаются у меня довольно редко. Если ехать от припадка до припадка, то я не по десять лет, а по сто лет буду писать каждую книжку. Я же королева улиток. Очень медленно пишу.

– **Хемингуэй об этом интересно сказал. Советовал начинающим писателям заканчивать на интересном месте, чтобы томиться ожиданием возвращения в историю и с легкостью подхватить энергию текста.**
– Да, хороший совет. Но у меня все иначе. Няня уходит в такое-то время – хочешь не хочешь, ты за полчаса до этого времени ставишь точку, даже если они там у тебя все висят на пучке сухой травы над пропастью. Что бы ни происходило в тексте, ты встаешь и возвращаешься в свою жизнь. Точнее, реальность тебя очень властно возвращает.

Мы знаем истории, когда писатель переставал писать или художник переставал писать. Волевым ли актом, этого мы не знаем. Но, прекратив, писатель не перестанет быть писателем. Это железа, и она работает.

– **Когда реальность забирает, не тянет ли обратно вернуться в историю? Или в вас есть выключатель и вы можете забыть на время об истории?**
– Я могу думать об истории, когда я не в тексте. Никто не может запретить мне думать. И я думаю о созданном мире. Это даже не думание – в такие моменты я очень отчетливо вижу этот мир, живу в нем. Я могу находиться в пространстве текста, делая омлет.
– **Очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Но потом окружающие говорят: ты все время ходишь с вытаращенными глазами, знаешь, друг, это утомляет.**
– Окружающих это очень утомляет, я согласна. Людей вокруг очень жалко. Мало того, у меня профессия, которая не позволяет этого. Я преподаватель. Конечно, когда я преподаватель, я абсолютно себя обрубаю. Дочка очень обижается, она видит это, она чувствует, дергает меня, говорит: «Мама!» Она понимает, что я не с ней, и обижается страшно. Я переключаюсь опять кратковременно к дочери, а потом обратно в историю.
– **Вы упомянули схиму, это очень интересно, ведь суть этого понятия в том, что нет пути назад, нельзя расстричься.**
– С точки зрения канонов – можно. Но ты будешь горько жалеть об этом.
– **Как вы считаете, писательство – действительно схима? Или это явление – кратковременное, долговременное, зависит от факторов – но конечное?**
– Нет, это схима. Ты можешь перестать писать физически. Мы знаем истории, когда писатель переставал писать или художник переставал писать. Волевым ли актом, этого мы не знаем. Но, прекратив, писатель не перестанет быть писателем. Это железа, и она работает. И у вас, и у меня есть слезная железа – если она засорится, вы будете страдать. Вы не будете плакать, но это не означает, что вы не способны плакать. Вы не можете стать другим, если есть совокупность факторов, о которой мы говорили. Талант, предрасположенность, способность писать… Вы эти навыки раскачали, вы учились и научились, у вас есть среда, потребность, миллион этих всех «вы чокнулись удачно», вот это все собралось – как вы теперь станете другим?
– **Возможно, психотерапия может помочь. То есть буквально пойти лечиться.**
– Вы не перестанете писать, потому что писательство все-таки не болезнь. Это гримаса личности, если можно так сказать. Устройство личности, балансирующее на грани с «не-нормой». Писательство делает шаги в безумие, но ты все равно балансируешь с этой, нормальной стороны. Если заиграться, можно в безумие, к сожалению, скатиться. Некоторые отъезжают, мы знаем примеры. А можно продержаться, походить по краешку пропасти и не свалиться.

– **Есть ли у вас какой-то рецепт – я ни в коем случае не утверждаю, что вы ходите по краю, – как не сорваться туда?**
– Я не пользуюсь допингами совершенно осознанно. Многие пьют, употребляют запрещенные вещества, не спят, накручивают в себе это безумие. Я абсолютно на сто процентов уверена, что все сделанное в измененном состоянии – мусор. Когда пройдет абстиненция, вы увидите, что все написанное – ерунда. Красота не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра. В нашем деле очень много ремесла, а ремесло и измененное состояние не дружат.
– **Балясину в измененном состоянии сознания не выточишь?**
– Нет, конечно.
– **Нейрофизиологи дают интересное определение «неистребимому писательскому зуду», о котором говорил Чехов. Суть, если кратко, вот в чем: ретикулярная формация мозга вырабатывает определенное количество психической энергии. Таким образом, у тебя внутри некая электростанция, которая работает всегда. Люди пишущие расходуют эту энергию на создание текста.**
– Мне кажется, в момент этого припадка вдохновения количество нейронных связей настолько увеличивается, что и возникает ощущение «мне этот текст продиктовали». Мозг выходит на такие скорости, что ты сам не успеваешь, тебе кажется, что пишешь не ты, а будто бы ты подключился к некоему волшебному источнику, откуда льются слова.
– **То есть вы считаете, что автор текста – это человек, который его пишет, и автор не забирает слова где-то в ноосфере?**
– Это очень обаятельная теория, я люблю Вернадского, и мне хочется верить, конечно, и в Софию тоже. Но нет. Я полагаю, что мы сами пишем тексты. Хотя порой возникает ощущение, особенно в стихах, что тебе надо просто услышать текст, вслушаться. А потом ты понимаешь – нет, нет, мы сами. Нет розетки, к сожалению.
– **Нет радиоприемника, да?**
– Думаю, если он и есть, ему нет до нас дела.
– **Раз приемника нет, нет волшебной красной таблетки, которую можно выпить и попасть в реальность великой литературы, что вы рекомендуете своим студентам? Как найти эту настройку внутри себя, чтобы почувствовать слова?**
– Они пришли, потому что в них это есть, это все-таки магистратура. Я не знаю, как найти эту настройку внутри себя, все очень индивидуально. Я могу посоветовать, как не потерять свой текст, особенно большой, потому что потерять его легко. Могу рассказать, как держать себя в форме.
– **Хорошо, расскажите тогда, как не потерять текст?**
– Я всегда говорю: чтобы оставаться писателем, надо думать не про себя, а про других. Наблюдать за другими. Эмпатия – один из основных наших инструментов. Способность слышать других.
– **И воровать чужие жизни, перенося на бумагу.**
– И воровать, конечно, быть подлецом. Вся литература – это великолепное воровство. Суть в том, что ты должен уметь сделать это так, чтобы не просто утянуть к себе чужую историю, а дать ей новую жизнь. Я всегда говорю студентам: когда читаете чужой текст, вы визжите от злобы со словами: «Как ты, гад, это сделал?!» В этот момент вы учитесь писать.
– **У вас такие чувства еще остались, когда читаете чужие тексты?**
– Конечно! Более того, этой злости стало больше. Я как читатель, став писателем, потеряла часть удовольствия, которое получала от текста. Автоматически обращаю внимание, как это сделано: здесь можно было получше,

братан. Или: черт, правда, ей-богу, это очень круто, запомню и попробую с этим поиграть. Я читаю как писатель. Поэтому у меня почти не осталось книг, которые бы мне жизнь переворачивали, как в детстве и в юности.

– **Но, тем не менее, они есть?**
– Они есть, но они почти все остались в прошлом.
– **Назовите.**
– Я совершенно сдурела, помню, в юности, мне было 17 лет, от первого романа, который прочла у Набокова. Это была «Машенька». Я даже не подозревала, что так можно. Теперь я как взрослый человек, как филолог понимаю, что «Машенька» не самая сильная набоковская вещь, хотя в ней абсолютно виден весь будущий Набоков. Это не почка. Из этой почки уже много чего торчит. Сейчас как у читателя у меня есть к «Машеньке» претензии, а тогда... Я так же прочитала в первый раз Сорокина. Я понятия не имела, кто такой Сорокин. Мне ни о чем не говорило его имя. Он пишет совершенно особенно.
– **Как именно?**
– Ты читаешь текст, тебя все это убаюкивает, автор под щечку тебе подушечку подложил, одеялко подоткнул, в лоб поцеловал. Ты лежишь и думаешь, как тебе хорошо...
– **И вдруг ты получаешь звонкую такую пощечину.**
– И дерьма ушат. Я читала Сорокина и думала: боже мой, оказывается, так тоже можно. Так же ошеломлена я была, когда в первый раз прочитала «Бильярд в половине десятого» Белля. Я его просто обожаю. Одна из самых любимых моих книг. Просто невероятная.
– **А сейчас удается, несмотря на весь профессионализм и скепсис, что-то такое найти в современной литературе?**
– Увы, нет. Такого чистого читательского счастья, как раньше, я больше не испытываю. Есть современные книги, которые мне безумно нравятся, писатели, которых я читаю с наслаждением. Исигуро – абсолютный восторг. Но я стала профессиональным читателем. Даже в момент наивысшего наслаждения я подмечаю: потолок можно было бы и побелить. Это очень горько, конечно, это профдеформация личности.
– **Нет тоски о том, что читательский восторг ушел?**
– Да, очень хочется его вернуть. Конечно, я очень хочу в первый раз прочитать «Волшебника изумрудного города». Я получаю удовольствие от книг, по-прежнему люблю читать. Но в этом уже очень много головы.
– **Писать стало проще или сложнее с годами?**
– Всегда одинаково. Я так же не уверена в себе, как и в 16 лет. И это хорошо. Замастеришься, и все. Я очень боюсь замастериться. Самой себе сказать: «Ну все, ты гений». Ужасно. Как только ты перестанешь бояться, перестаешь испытывать страх, что у тебя не получится, ровно в этот момент ты перестанешь писать настоящее. Я очень этого боюсь.
– **А были такие приступы?**
– Нет, я ведь дико закомплексованный человек. Наоборот, когда меня хвалят, я думаю и убеждаю себя: ой, это все не обо мне. А когда меня ругают – вот тут я прям сразу все примеряю на себя.
– **Не является ли это следствием того самого отрицания «я» в детстве? Что вот это хорошее, что сделано, – не я?**
– Может быть. Потому что это в чистом виде комплекс неполноценности, он тоже сформирован. Меня воспитывали: «Перестань якать. Самое главное – это не ты».
– **Выходит, что это все сейчас вам помогает?**

– Да, помогает, но это очень больно. Это травмирует. Но к психологу или к психиатру я с этим не пойду. Наоборот, сейчас понимаю, что это ровно то топливо, которое и заставляет меня продолжать, помогает мне писать.
– **А вообще, пойдете на психотерапию в принципе?**
– Я пробовала ходить. Психотерапия совершенно не пошла. Мы общались о том о сем. Я прекрасно помню этот момент, когда психотерапевт сказал: «Марина, а вы отдаете себе отчет, что вы не существуете?» Я говорю: «Это как?» Он говорит: «Вы понимаете, в вашей жизни, в вашей собственной жизни вас нет, вы живете для других людей. Вы понимаете, что жизнь одна, вы стремительно летите к смерти в полном своем несуществовании. Это можно изменить». А я ушла. Долго думала, размышляла, так и сяк, а потом поняла, что это буду не я, если я изменюсь, и перестала к нему ходить.
– **Какой был первоначальный запрос, когда вы обратились к психотерапевту?**
– А в том-то и дело, что у меня не было первоначального запроса. Я пошла к психотерапевту, потому что мой товарищ к нему ходил и совершенно преобразился, стал другим человеком. Мне стало дико интересно, я такого не видела. Я знала этого приятеля много лет, знала довольно хорошо, и вдруг… Он стал не лучше и не хуже, он стал другим. Любопытство – это ведь не запрос. Мне стало интересно, и я, когда пришла в первый раз, думаю: чего ж, вот у меня комплекс неполноценности. А теперь я все знаю про себя. Это довольно болезненная штука, копаться в себе, приятного в этом нет.
– **Я знаю, я прошел курс психотерапии, мне очень хорошо все, о чем вы говорите, знакомо.**
– И еще в какой-то момент я почувствовала, смотря на человека, сидящего напротив: «Ты сделаешь меня не мной, а я тебе за это еще деньги буду платить?» И больше не ходила, хотя надо бы, но нет.
– **Нет ощущения, что вы – это по-прежнему не вы? Что кто-то другой пишет тексты, что кто-то другой общается с близкими, кто-то другой смотрит какие-то картинки о жизни?**
– Нет. Это я.
– **Вы нашли себя?**
– Я себя не теряла. Я такая несуществующая вполне собой довольна.
– **Нет ли в этом противоречия? Не существовать, но быть довольной? Ведь если нет субъекта, воспринимающего реальность, нет и реальности.**
– Нет, я не вижу здесь противоречия. Я вполне существую как субъект, но этот субъект озабочен тем, чтобы хорошо было другим. Я обслуживающий персонаж. Для кого-то это трагедия, да, но не для меня. Я довольно давно осознала, что такова моя реальность. Такая вот странная побочка эмпатии. Я, как правило, не говорю «нет» и не отказываю, когда меня просят. Ставлю себя на место других людей, понимаю их потребности. Иногда доходит до смешного. Муж мой надо мной потом смеялся. Мы сидели в аэропорту в зале ожидания, ждали самолет. Было не очень много свободных мест. Мы сидим с мужем рядом, каждый в своей книжке. Я поднимаю глаза и вижу женщину, примерно свою ровесницу. Не беременную, не на костылях. Я смотрю на эту женщину и вдруг поднимаюсь и уступаю место. Она садится и говорит: «Спасибо вам большое, у меня так болит нога». Я увидела, что у нее болит нога, потому что я привыкла считывать, вглядываться в человеческие лица. Сколько есть на свете сумасшедших, больных, безумных, чокнутых, они все идут ко мне просто как намагниченные.
– **Потому что Марина не откажет.**
– Абсолютно. И это далеко не всегда приятно.
– **Иногда и деструктивно.**

– Да. Но такая модель жизни дает мне колоссальные возможности, когда я пишу. Я могу влезть вообще в любого человека. Не в живого, живой он мне не сдался. Это не доброта, понимаете? Я довольно дружелюбный человек, но это не доброта. Эти просители часто мне досаждают. Но когда ты сочиняешь, это меч джедая. Очень могучее оружие.

– **Вы хотели бы что-то в своей жизни изменить с точки зрения того положения вещей, которые есть сейчас? Может быть, чуть больше времени для себя?**

– Если оно появится, я засяду над текстом.

– **Вы не ответили на вопрос. Вы хотите поменять что-то в своей жизни или нет?**

– Я бы ничего не хотела поменять, я счастлива по-своему. По-своему, но очень счастлива.

– **По-своему – это как?**

– Со стороны моя жизнь, я понимаю, выглядит абсолютно ненормальной. Я абсолютно ненормальная и есть. От большинства хороших вещей в своей жизни я не получаю никаких дивидендов, совсем. И не хочу. Я, например, знаю, что большое количество известных влиятельных людей читали мои книги и им эти книги понравились. Я могла бы познакомиться с этими людьми, общаться с ними, войти в какие-то там круги. Более того, время от времени из этих кругов появляются люди, которые меня в эти самые круги зовут. Но мне этого не нужно, я не хочу. Мне неинтересно, понимаете? Получается, что с чьей-то точки зрения я себя обделяю. Ну как же, ты могла бы с этими дружить, туда ходить, за эти кулисы заглянуть. А я этого не делаю вполне осознанно, и правда рада, что все так складывается. Для кого-то это несчастье, для меня счастье.

Для меня счастье, что рядом со мной человек, который это все терпит. И ему даже интересно. Я бы такую бабу бросила, ей-богу. Поверьте, я очень стараюсь нормальное в себе культивировать. Я помню, в Литинститут когда поступила – точнее, не поступила, а перевелась, – поглядела на все это… В то время в Литинституте был как раз культ безумия: если у тебя была справка из дурдома, ты был герой. Две справки – дважды герой Литинститута. Чем ты был дурнее, тем круче. И учащиеся там все это изображали как могли. Я на это все посмотрела и довольно быстро себе дала слово, что буду выглядеть нормально, вести себя так, что никто никогда не заподозрит, что я учусь в Литинституте и живу в общежитии Литинститута. Я до сих пор стараюсь ничего такого писательского напоказ не выставлять, потому что оно не очень опрятное, не очень красивое. А некоторые, наоборот, думают, как бы включить творческую личность, напялить корону и так далее.

– **Насколько образ, который видят окружающие в социальных сетях, в момент, когда вы общаетесь с людьми, преподаете, соответствует тому, кто вы есть? Или есть все-таки большая дистанция?**

– Колоссальная. Например, меня считают веселым жизнерадостным человеком, оптимистом, который любит – нет, я правда люблю! – посмеяться, открытым, экстравертом. А ведь это все не так. Я умею выступать на публике, но очень этого не люблю. Я умею разговаривать с людьми, но часто это мне тяжело. Я ненавижу публичные выступления, ненавижу бывать на тусовках, блистать, ходить с бокалом… Ненавижу! Самое большое счастье для меня – сидеть дома.

– **Сидеть с текстом или просто сидеть дома?**

– Даже просто сидеть дома – счастье. Ребенка уложили, вечером сели с мужем посмотреть кино хорошее. Абсолютное счастье. Если мне скажут, все, пора получать Нобелевскую премию, это будет сверхусилие. Я дисциплинированный человек: сказали «надо получать», я поеду получать. Но буду искренне

горько сожалеть, что не сижу на диване с мужем, не смотрю кино и не обсуждаю с ним увиденное, не говорю с ним о литературе.

– **Но ведь можно всю жизнь, сидя на этом диване, упустить какие-то возможности, которые предлагает жизнь.**
– Конечно, безусловно. Но мне неинтересны эти возможности. Я несколько раз в своей жизни делала хорошую карьеру, потом ее оставляла. Каждый раз я делала карьеру не потому, что я ее хотела делать. Она, скорее, сама делалась из-за того, что я и правда хороший работник. Нет, правда, – я отличный наемный работник. Я добросовестная, ответственная. Мне сказали – бежать, я буду бежать сколько надо, причем я буду бежать не спустя рукава, я буду блистая взором бежать. Таких сотрудников дефицит. Поэтому я довольно быстро всегда двигалась по карьерной лестнице. Но возможности, которые давала карьера, меня не возбуждали. Я 15 лет была главным редактором модного глянцевого журнала. И за эти 15 лет была всего на двух тусовках.
– **Мне это очень хорошо знакомо. Я, если честно, тоже не люблю светские тусовки. В какой-то момент меня просто перестали звать.**
– Ага, так было и со мной.
– **Примерим ваше нежелание делать карьеру на литературу. Когда вы начали писать, вы тоже не думали о том, к чему это все приведет?**
– Это вообще, я считаю, чистая случайность. Мне повезло.
– **Я не согласен. Случайность не может стать следствием десяти лет, проведенных с текстом.**
– Десять лет, да. Абсолютно осознанное время работы над романом.
– **Давайте перефразирую. Когда ты сидишь и так упорно, так самозабвенно, целенаправленно пытаешься сделать текст, то он не может получиться плохим. Так мне кажется.**
– Надо подумать… Я так навскидку и не скажу, были ли неудачные тексты с таким сроком.
– **Я думаю, что были, но мы о них не знаем.**
– Ужас нашей работы в том, что эти десять лет, в которые ты выкладывался, могут все равно оказаться пустыми, а текст будет мертвым. Знаете, как меня за «Сад» костерят некоторые читатели? Как никогда в жизни раньше. Всегда есть тот, кому нравится текст. Всегда найдется тот, кому текст не понравится. В случае с теми, кому «Сад» не понравился, меня буквально разнесли в пух и прах. Меня критикуют так самозабвенно. Так что для читателей, которым текст не понравился, результата нет. Точнее, результат очень разочаровывающий.
– **Вы, наверное, вряд ли ориентируетесь на таких и вообще на читателей, когда пишете?**
– Я совсем не ориентируюсь на читателя, мало того, я всегда понимаю, что только одиночество и затворничество поможет закончить текст.
– **Вы как-то сказали, что вы боитесь одиночества. А зачем вы его боитесь?**
– Я боюсь не просто одиночества, у меня три страха в жизни: я боюсь старости, нищеты и одиночества. Вот этих трех вещей я очень боюсь.
– **Одна из них неизбежна.**
– Старость, да, и это делает страх особенно *страшным*. Одиночества я боюсь, наверное, потому, что у меня есть зависимость от людей. Не от их мнения, я никогда не думала о служении. Ведь служение предполагает тех, кому ты служишь.
– **И схима подразумевает то же самое, разве нет?**
– Схима – нет. Схима – это когда есть ты и Бог, все. Ты с ним состоишь в отношениях. И имя им «служение Богу». Но есть служение в более широком

смысле, в более низком, что ли, смысле. Когда есть, должны быть те, о ком ты заботишься. Я очень боюсь, что мне не о ком будет заботиться.

– **Почему вы этого боитесь?**
– Я не знаю тогда, кого я буду жалеть.
– **Вы боитесь, что таких людей больше не будет в вашей жизни?**
– Да. Потому что людей, которым я отдаю, очень много, а людей, о которых я забочусь, мало. И больше их не становится, чем старше я становлюсь. Я боюсь, что в какой-то момент они исчезнут совсем.
– **Но ведь «мы рождены, чтобы ежедневно умирать». Вы смерти боитесь?**
– Нет. Я не боюсь смерти, у меня нет никаких скорбей по этому поводу. Старости я боюсь гораздо больше, чем смерти. Потому что я боюсь беспомощности, бессилия. Боюсь, что я в какой-то момент – я видела это – перестану быть человеком разумным. Я боюсь потерять достоинство. А старость с достоинством очень редко идут рука об руку. Достоинство в чем? В том, что я сама распоряжаюсь своим телом, своей жизнью, что сама могу заработать, приготовить, поесть, сходить в туалет. Вот это все. В младенческой беспомощности очень много умилительного, в старческой беспомощности нет ничего, кроме трагедии. Поскольку я, к сожалению, по женской линии из рода долгожителей, я очень боюсь, что со мной случится долгая старость. И очень бы не хотела вот этого угасания безумием. Я бы, конечно, предпочла, чтобы все как-то по-другому случилось.
– **Вы вообще думали о том, как бы вы хотели умереть?**
– Здесь уместно процитировать «Белое солнце пустыни»: «Хотелось бы, конечно, помучиться». Так вот хотелось бы, конечно, не мучиться. Опять же, я видела, как люди умирают. Это такой труд, работа. Я поняла, что это тоже опыт.
– **Материал для будущих текстов?**
– Ужас в том, что не материал, а именно опыт. На самом деле мы можем поделиться любым опытом, кроме опыта рождения и опыта умирания. Это два момента какого-то невероятного одиночества. И вот ведь что странно: я боюсь одиночества, а смерти – нет. Как будто в этом есть противоречие. Но нет. Суть в том, что я знаю о конечности жизни. А в случае с дряхлым увяданием ты не знаешь, случится оно или нет. Нищеты ведь я боюсь, потому что, да, это тоже беспомощность. Поэтому я всегда очень много работаю.
– **Та публичность, которая пришла к вам, как-то изменила ваше отношение к жизни?**
– Но я же совершенно непубличный человек. Некий фантом самой себя публичной, аватар. На людях я появляюсь, когда это кровь из носу необходимо. Например: вы должны прийти на вручение премии «Большая книга», потому что вы в шорт-листе. Ни на какие другие церемонии я не хожу. Если просто потусить, это ровно не ко мне. Я как была непубличным человеком, так и осталась им. Надеюсь, так и будет, потому что мне так комфортно, мне так хорошо.
– **Писательская тусовка, некое сообщество людей, которые варятся в едином котле, вам неинтересна?**
– Нет. Есть несколько писателей, с которыми я в хороших человеческих отношениях. Я с ними познакомилась, что называется, обнюхалась, мы были приятны друг другу. С 99 % современных писателей я не знакома вовсе. Есть люди в писательской среде, с которыми я почти дружна или дружна, но их тоже микроскопически мало. Я с ними переписываюсь, перезваниваюсь, встречаюсь. Редко, но встречаюсь. Но это абсолютно человеческие истории.
– **Назовете?**

– Очень люблю Андрея Волоса, мы дружим. Невероятный человек, невероятный писатель, недолюбленный, недооцененный, совершенно трагический. Очень люблю Майю Кучерскую, которая моя коллега по ВШЭ, мой друг. Человек невероятный, очень хороший, очень хороший писатель. Все время, которое я провожу с Майей, для меня всегда радость. Всегда рада видеть Алексея Варламова, люблю его, хотя словом «дружба» это назвать нельзя. Мне страшно нравится Леонид Юзефович. Всегда, когда у меня есть возможность с ним поговорить, – это отдохновение. Я в очень хороших отношениях с Захаром Прилепиным, в человеческих хороших отношениях. Сейчас мы стали реже общаться, потому что он весь в политике. Я не понимаю, зачем, но он понимает, зачем, это его жизнь, в конце концов. Мне кажется, что если и существует ад, то это политика. Если бы меня туда бросили, то вот это был бы настоящий кошмар. Оттуда меня точно в полотенце бы повезли. А ему нравится. Есть пара имен, с которыми я поддерживаю связь. В общем, таких людей очень мало.

– **Мы заговорили о смерти. Недавно с Евгением Чижовым общался. И вот он в интервью сказал: «Пожелайте мне если смерти, то мгновенной, если раны – небольшой». Что вы думаете об этом, это такой лирический образ?**

– Вы знаете, в долгой болезни тоже есть опыт. Я думаю над тем, что мы сейчас обсуждаем, и мне приходят новые откровения. Я только что поняла, что еще боюсь старости, потому что в старости невозможно писать тексты. Просто все угасает, в том числе мозг. Пятидесятилетний Толстой и Толстой восьмидесятилетний – это писатель и неписатель. Я как-то разговаривала с хореографом, который сказал мне замечательную вещь, говоря о классическом балете: «Танцевать после сорока лет можно, смотреть на это уже нельзя». Есть, конечно, исключения. Плисецкая, Уланова… Но по большей части в какой-то момент твой мозг не будет работать так же, надо вовремя будет остановиться, перестать писать.

– **Вы готовы к этому? Суть того, что мы обсуждаем, заключается в том, что у писательства есть некий срок годности.**

– Я очень надеюсь, что пойму эту точку и что рядом кто-то будет, если я не пойму. Кто-то честный, кто скажет. Это знаете, как у женщин – приходит момент, когда женщина больше не может ходить с распущенными длинными волосами. Просто потому, что она начинает выглядеть нелепо и жалко. То же самое с одеждой. В какой-то момент ты не можешь носить короткий топик, даже если у тебя безупречный пресс. Не можешь, потому что тебе 50. Танцевать ты еще можешь, пресс у тебя есть, но смотреть на это уже нельзя. Я очень надеюсь не пролететь этот момент осознания и вовремя остановиться. Потому что опять же – это потеря достоинства. Когда ты пишешь, все еще думают, что ты писатель, а ты уже не он.

– **Здесь возникает интересный вопрос. Мы форматированы культурой, это нам культура говорит, что нельзя в 50 лет ходить с открытым прессом. Но если человек чувствует себя комфортно в этом состоянии, может, ему нужно продолжать?**

– Да можно и голым ходить.

– **Я веду вот к чему: если будет внутренний драйв и вам все скажут – хватит, больше не надо продолжать, прекрати. А вы будете хотеть сидеть с текстами… Вы остановитесь или продолжите?**

– Надеюсь, что остановлюсь. Надеюсь, что смогу эту точку поставить сама. И это, конечно, страшит. Потому что с моими скоростями, ну, может, еще одну книжку я успею написать, а дальше уже надо будет останавливаться, заниматься чем-то другим, искать себе другую точку опоры. Я не знаю, пе-

рестану ли я сочинять. Это тоже немного пугает. Просто если я перестану сочинять... Не писать я смогу, но смогу ли я перестать сочинять истории у себя в голове? Или это будет уже совсем не голова, а какая-то боль. Я не понимаю грядущих изменений.

– **Вы чувствуете – это вульгарный вопрос, но тем не менее я задам его – свой возраст? Те изменения, те потерянные возможности, которые были раньше и которых нет сейчас?**
– Меня как раз пугает, что нет. В душе мне всегда 18 лет. Я себя чувствую абсолютно молодым человеком, хотя это совершенно не так. Поэтому я побаиваюсь, потому что я нужный поворот проскочу и буду безумной восклицающей старухой, которая будет что-то такое из себя исторгать, а читать это будет совершенно невозможно. Тут ведь еще есть эффект зачетки. Да, Степнова, лауреат премий, продолжает писать эти вот свои книги, которые уже давно не книги. Окружающие скажут, что я сошла с ума.
– **То есть при том, что вы не хотите общаться с другими людьми, вы зависите от мнения окружающих?**
– Ой, конечно. Я принимаю во внимание, я же не сумасшедшая, я не асоциальная. Ну и к тому же я уважаю психику других людей. Эмпатия не позволяет вести себя так… Как бы сформулировать? Какой бы у меня ни был драйв, я не понеслась бы в коротком топике с распущенными фиолетовыми волосами… Просто чтобы не пугать окружающих.
– **Это эмпатия или воспитание?**
– Это эмпатия. Она раскачивается воспитанием, безусловно, она раскачивается текстами. Эмпатичным никто не рождается. Это культурное явление, социальное. Маленький ребенок по умолчанию эгоист. Эгоцентрическое мышление – вот что такое ребенок. Я у дочки эмпатию осознанно развиваю. С одной стороны, это довольно тяжелая ноша, с другой стороны, эмпатия очень помогает в жизни. Рядом с эмпатичным человеком другим людям легче. Для того чтобы в социуме существовать, лучше быть эмпатичным, чем каким-то нарциссом или психопатом, которому вообще-то на самом деле внутри сложно. Просто потому, что он не умеет, не понимает мир вокруг, не считывает других людей. Никто не хочет в партнеры или в друзья нарцисса или психопата.
– **Быть эмпатичным в вашем понимании – значит быть зеркалом. Или быть чем-то еще?**
– Нет, эмпатичный человек не зеркало. Это такой инопланетянин Рэя Брэдбери. Вы не зеркалите человека, вы в него перескакиваете, мгновенно. Раз-раз-раз-раз, а тебе больно, тебе неприятно, ты злишься. Это способность не оправдать, а понять любое поведение, любого человека, любую реакцию. Ты делаешь это в ущерб себе, потому что если человек хамит, ты вместо того, чтобы с плеча засадить ему или одернуть, нахамить в ответ… Ты его жалеешь, а он продолжает на тебя лить грязь тонкой струйкой – или толстой. Ты не в выигрыше от этого, но ты понимаешь, что человеку напротив больно, и ты принимаешь его таким, какой он есть.
– **Что тогда дает эмпатия эмпату, человеку, который через себя все пропускает?**
– Мне в сочетании с богатым воображением – возможность сочинять бесконечно далеких от себя героев. Довольно сложно, когда пишешь, всегда опираться на себя самого и на близких знакомых. Себя-то ты все-таки знаешь. Но есть опыт, который ты не переживал. Тебя просят: опиши роды. А как я опишу роды, я мальчик, или я девочка, которая еще не рожала. Как я это опишу? Черт, ты писатель или нет? Ты не можешь пережить опыт родов, если ты мужчина. Но ты должен уметь об этом написать. Назвался писателем? Значит, ты должен. И тут эмпатия, конечно, очень тебе помогает.

– **Насколько Марина Степнова присутствует в романах Марины Степновой?**
– Микроскопически.
– **Но при этом для вас, несмотря на то что дистанция огромная и вас в ваших текстах мало, писательство психотерапевтично?**
– Конечно. Там все мои вопросы и все мои болячки, все мои проблемы и травмы. Но там нет моей личной жизни, нет моих личных черт. Совсем близкие мне люди видят словечко, например, или словечки, или ситуацию... Переработанную бесконечно, но близкие видят, откуда это выросло, и из чего это, из какого сора. А так вот, чтобы я села и рассказала историю своей жизни… Никогда.
– **Может быть, это та самая маскировка? И мы опять возвращаемся к тому, что…**
– Что меня не существует?
– **Да.**
– Возможно.
– **А есть ли у писателя какая-то миссия? Ненавижу это слово, но, тем не менее, сверхзадача.**
– Наверное, у каждого своя.
– **Какая у вас?**
– Я напоминаю людям про других людей. Мне кажется, что я стараюсь напомнить читателям, что людей жалко. Примерно так. Глобальной миссии по изменению человечества и по принесению человечеству света либо тьмы у меня нет. До такой степени я не нездорова. Я для себя все это делаю. Как сказано выше, о читателях я не думаю, нет. Это неприятно для читателей. Извините меня, читатели, но нет, я пишу для себя.
– **Эгоцентричная Степнова?**
– Да-да! Я делаю это для себя. Делаю то, что мне интересно. Я прекрасно знаю и понимаю: этого героя можно сделать таким, чтобы он понравился читателю, и, тем не менее, я делаю неприятных героев. Потому что мне так интересно. На успехе «Женщин Лазаря» можно было ехать всю оставшуюся писательскую жизнь. Делать «Женщины Лазаря – 2» и так далее… Основной упрек, который я получаю, почему следующая книжка не «Женщины Лазаря»? Но я принципиально пишу другие тексты, потому что я делаю это *не для читателя*. Я не хочу всю жизнь писать одну и ту же книжку, мне это неинтересно.
– **О чем вы хотите написать, о чем вы еще не написали?**
– Мне надо «Сад» закончить, он не закончен. Я там много чего недосказала. Всегда один текст растет из другого. Вот пишешь этот текст, потом вдруг бац – и там появляется другой.
– **Я бы хотел подвести черту, коль скоро мы заговорили о некоей миссии писателя и пришли к выводу, что все-таки это эгоцентричное занятие. И одновременно говорили о смерти, старости… А что бы вы хотели оставить после себя, и хотели бы оставить после себя что-то?**
– Мы говорили о чудесных светлых вещах, жизнеутверждающих, эта беседа полна света и смысла. Я очень бы хотела, чтобы мои тексты остались в литературе, чтобы они стали ее частью. Опять же, к сожалению, станет это ясно, мягко говоря, чуть позже. Я не узнаю об этом, ведь все прояснится после моей смерти. Но я очень бы хотела, очень бы хотела, чтобы мои тексты остались.
– **Хотите застолбить место на аллее славы великих или чтобы ваши тексты продолжали менять тех людей, которые их прочтут?**
– Чтобы они продолжали быть интересными, чтобы их читали. Со славой мы не друзья. Ну придет, допустим, посмертная слава… Будь я даже дьявольски

тщеславной, посмертная слава не дала бы мне ничего, что слава может дать человеку. Мне бы просто хотелось, чтобы мои тексты читали.

– **Вам бы хотелось, чтобы тексты жили, потому что текст существует только в тот момент, когда читатель с ним взаимодействует?**
– Да, конечно, мне бы хотелось, чтобы тексты остались живы.
– **Бессмертие текста?**
– Ну это единственная на самом деле доступная для творческого человека форма существования бессмертия. Текст, картина, музыка. Текст, вы верно сказали, существует дважды. Сначала он возникает у тебя в голове, а потом второй раз возникает или не возникает в тот момент, когда его читают. Твое воображение и воображение читателя встретились, и началась литература. Или нет. Тогда текст мертв. Или для конкретного читателя мертв. Было бы здорово, если бы мои тексты были живыми.
– **Тогда совсем если резюмировать… Значит, вы хотите бессмертия?**
– Да, если следовать логике и тому, что я говорю, получается, что это так. Хотя речь о бессмертии абсолютном, не персональном. Если говорить о персональном бессмертии, это было бы, скорее, ужасно. Потому что бесконечная жизнь, бесконечное дряхление и угасание – это ужасно.
– **Зато тексты можно писать сколько угодно долго.**
– Нельзя. Если нельзя в 80, то в 180 тем более нельзя. И в 2080 тем более нельзя. Там уже, мне кажется, что исчезнет мораль. Физическое бессмертие для каждого человека убьет сострадание.
– **Что для вас мораль?**
– Вот сказала же о морали на свою голову. Сострадание. Хотя давайте возьмем шире – сочувствие.
– **В чем разница между этими понятиями лично для вас?**
– Сострадание – это когда кому-то плохо и ты его из-за этого жалеешь. А сочувствие – это когда ты чувствуешь, что чувствует другой. Парадоксальным образом смерть придает нашей жизни вкус. Конечность жизни делает саму жизнь невероятной. Я это поняла. У меня больное сердце, и когда мне поставили диагноз, сказали, может, вы долго будете жить, конечно, но сделать ничего нельзя, пейте таблетки. А может быть, умрете прямо сейчас. Вам нельзя волноваться, заволнуетесь – помрете. Вот тогда я все поняла. Трудно жить и не волноваться. Я помню, что с этого момента жизнь сделалась для меня какой-то… Как будто стекло протерли. Особенно яркой. Да, я могу умереть в любой момент, это значит, этот момент я проживаю гораздо ярче, чем проживала раньше. Я имею в виду ярче, а не насыщенней по событиям. Жизнь моя лишена событий примерно полностью. Ярче именно по ощущениям. Я все время все вижу, слышу, ощущаю. Такой бесконечно напряженный соглядатай.
– **Скорость жизни повысилась? Ну просто потому, что перед лицом внезапной смерти, которая может прийти в любой момент, хочется чуть больше успеть?**
– Пожалуй, нет. Концентрация на жизни повысилась, а скорость нет. Скорость не очень зависит от меня. Наверное, это внутри меня случилось увеличение концентрации раствора, а не его вихрение.
– **В литературном плане этот год вам что-то дал, когда границы закрылись? Или, может быть, забрал что-то, потому что стало меньше впечатлений?**
– Нет, как я работала, так и работаю. Просто в какой-то момент стало тяжело, потому что, опять же, несмотря на любовь к сидению дома, которая возникает сразу же, когда куда-то надо ходить, двигаться, сама по себе делать-то, что я хочу, я очень люблю. Мне было очень тяжело сидеть в четырех стенах, без возможности совсем куда-то выйти, без людей. Совсем без людей тяжело, я должна на них смотреть, я должна общаться. Я закончила книжку и думаю

о следующей, в этом плане без путешествий очень тяжело. Мне нужны путешествия. Это вообще просто кошмарный какой-то год. У меня мама умерла.

– **Соболезную вашей утрате.**
– И все это как-то сильно меня придавило. Поэтому даже не верится, что этот год закончится. Ну, может быть, следующий будет лучше. Этот год был непростым. Текст (роман «Сад». – *Прим. ред.*) вышел. И то хорошо.
– **Когда вы заканчиваете текст, вы чувствуете опустошение, облегчение, радость, печаль?**
– Сначала дикую радость просто потому, что ты закончил. Всегда радостно что-то закончить. Когда ты макароны сварил, это покруче, чем когда варил макароны. Так же и с текстом. И одновременно, практически мгновенно, буквально не о чем думать. Ты процентов на семьдесят в другом мире. А потом вдруг раз – и все, волшебные дверцы закрылись. Поэтому всегда я радуюсь, когда пишу одну книгу и внутри начинаю нашаривать какую-то точку следующей книжки. Найдя, торопишься закончить текущую и уже начать думать о следующей. Вас ждет ошеломление, когда вы закончите. То же самое, что испытать оргазм. Только круче.
– **Значит, получается, литература – это секс? И даже круче секса?**
– Я думаю, что литература – это круче всего вообще абсолютно, что только есть на белом свете. Ничего круче я не испытывала. Секс – тоже хорошая вещь, не поспоришь. Но литература круче, хотя бы потому, что трудно представить себе непрерывное занятие сексом на протяжении десяти лет. Мало кто может позволить себе это технически. А ты можешь десять лет жить в этом мире.
– **Окружающие ревновать начнут, что ты спишь не с ними. Мы ведь договорились, что это эгоцентричное занятие.**
– Да, мы такие. Они нас терпят или не терпят. Но мы не можем по-другому.
– **Давайте резюмируем. Вы чувствуете себя счастливым человеком?**
– Да. Я чувствую себя счастливым человеком, потому что я смогла свое несчастье инвестировать так, чтобы оно стало моим счастьем. Я счастлива, потому что я профессионально несчастный человек, который нашел точку применения для этого несчастья.

Декабрь 2020 года

К 75-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА АЛЕЙНИКОВА

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ
Поэт, прозаик, переводчик, один из основателей СМОГа. Родился в 1946 году в Перми. Окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Автор множества книг стихов и прозы. Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба. Живет в Москве и Коктебеле.

* * *

Все дело не в сроке – в сдвиге,
Не в том, чтоб, старея вмиг,
Людские надеть вериги
Среди заповедных книг, –
А в слухе природном, шаге
Юдольном – врасплох, впотьмах,
Чтоб зренье, вдохнув отваги,
Горенью дарило взмах –
Листвы над землей? крыла ли
В пространстве, где звук и свет? –
Вовнутрь, в завиток спирали,
В миры, где надзора нет!

Все дело не в благе – в Боге,
В единстве всего, что есть,
От зимней дневной дороги
До звезд, что в ночи не счесть, –
И счастье родного брега
Не в том, что привычен он,
А в том, что, устав от снега,
Он солнцем весной спасен, –
И если черты стирали
Посланцы обид и бед,
Не мы ли на нем стояли
И веку глядели вслед?

* * *

Куда заглянули вы нынче, слова? –
Не в те ли бездонные воды,
Откуда вы черпали ваши права
По первому зову свободы?

И что же от ваших стенаний и слез,
От музыки вашей осталось?
В разомкнутом небе – предчувствие гроз,
А в сердце – простая усталость.

Но смысл ваш подспудный не так уж и прост –
И мы не ему ли внимаем,
Когда норовим дотянуться до звезд
И рокот морей обнимаем?

В листве и цветах средь биенья лучей,
Украсивших грешную землю,
Я ваше участье еще горячей,
Еще откровенней приемлю.

Но с вашей повадкой и с вашей мечтой
Не только улыбки знакомы –
И тот, кто лежит под могильной плитой,
Постиг наважденье истомы.

И я наглядеться еще не могу,
Как день наклоняется к вишням, –
И век неизбежный в себе берегу,
Чтоб с честью предстать пред Всевышним.

* * *

Вот смеркается, вечереет, –
И душа уже не болеет,
Но глаза от прохожих прячет,
А порою по-птичьи плачет.

Кто ты – горлица иль зегзица? –
Отзовись, не пугайся, птица! –
Не стенай надо мной, не надо,
Не кружись над громадой сада.

Отзовись из далекой были,
Где себя наяву забыли, –
И во сне возвращенья нету
К золотому началу света.

Что же, корни его – в землице?
Не кричи надо мной, зегзица!
Что же, ветви его – не тронешь?
Что ты, горлица, страшно стонешь?

На кого же ты нас покинул?
Лучше в сердце во мраке вынул,
Лучше б слуха лишил и зренья!
Где предел моего горенья?

– Нет конца твоему горенью –
Ты живущим пришел в даренье,
Ты поешь, и звучанье это –
Золотое начало света.

* * *

Тирсы Вакховых спутников помню и я,
Все в плюще и листве виноградной, –
Прозревал я их там, где встречались друзья
В толчее коктебельской отрадной.

Что житуха нескладная – ладно, потом,
На досуге авось разберемся,
Вывих духа тугим перевяжем жгутом,
Помолчим или вдруг рассмеемся.

Это позже – рассеемся по миру вдрызг,
Позабудем обиды и дружбы,
На соленом ветру, среди хлещущих брызг,
Отстоим свои долгие службы.

Это позже – то смерти пойдут косяком,
То увечья, а то и забвенье,
Это позже – эпоха сухим костяком
Потеснит и смутит вдохновенье.

А пока что – нам выпала радость одна,
Небывалое выдалось лето, –
Пьем до дна мы – и музыка наша хмельна
Там, где песенка общая спета.

И не чуем, что рядом – печали гуртом,
И не видим, хоть вроде пытливы,
Как отчетливо все, что случится потом,
Отражает зерцало залива.

* * *

Ты думаешь, наверное, о том
Единственном и все же непростом,
Что может приютиться, обогреться,
Проникнуть в мысли, в речь твою войти,
Впитаться в кровь, намеренно почти
Довлеть – и никуда уже не деться.

И некуда бросаться, говорю,
В спасительную дверь или зарю,
В заведомо безрадостную гущу,
Где всяк себе хозяин и слуга,
Где друг предстанет в облике врага
И силы разрушенья всемогущи.

Пощады иль прощенья не проси –
Издревле так ведется на Руси,
Куда ни глянь – везде тебе преграда,
И некогда ершиться и гадать
О том, кому радеть, кому страдать,
Но выход есть – и в нем тебе отрада.

Не зря приноровилось естество
Разбрасывать горстями торжество
Любви земной, а может, и небесной
Тому, кто ведал зов и видел путь,
Кто нить сжимал и века чуял суть,
Прошедши, яко посуху, над бездной.

БОГИНЯ ЯВЬ

...И за то, что суждено мне было изведать всю редкостную красоту некоторых, земных, но определенных, полагаю, небесами, дружб – и суждено было услышать от некоторых, чрезвычайно дорогих для меня людей, важнейшие для меня слова о том, как воспринимают они написанное мною, – я несказанно благодарен судьбе, время от времени укреплявшей мой дух такими дарами.

Лучше всех, пожалуй, и, как это всегда у нее получалось, кратко и точно, в форме своеобразного изречения, определила суть моих стихов незабвенная Мария Николаевна Изергина:

– Стихи Владимира Алейникова я очень люблю и для меня они лучшее, что сейчас пишется. Что меня больше всего привлекает в его стихах, это – свет.

Сформулировано ею это было в восьмидесятых, многажды высказано прилюдно, при большом, как тогда еще довольно часто бывало, скоплении народа, в ее коктебельском доме, на знаменитой веранде, перевидавшей все и всех, потом – записано.

Однако о том, что она постоянно ощущает исходящий из моих стихов свет, стала говорить она еще со времени нашего знакомства, вскоре переросшего в долголетнюю прочную дружбу, то есть еще со знаменательного для меня лета шестьдесят пятого.

Особенный этот свет, который она так верно ощущала всем своим существом, помогал ей жить – так она говорила.

А прожила она девяносто три с половиной года, и вдосталь было в ее жизни и сложностей, и трагедий.

Поразительно стойкий человек!

А какое чутье – на слово, на звучание его, на каждую новую краску, на тон, на ритм, на дыхание, на тот синтез, который так определяет вообще все и столь важен в искусстве, на интонации, на все те откровения и открытия, которых она так всегда ждала от речи!

Я знаю, что понять мои стихи помогло ей – отчасти, конечно, и все-таки, это важно, то, что она прекрасно знала музыку, сама была очень хорошей певицей и музыкантшей.

Но и не только это. Помогало и другое.

Важна была, так сказать, закваска. Воспитание. Образованность. Реакция на хорошее и плохое. Мгновенная отзывчивость на подлинное искусство.

А еще важна была – ее неудержимая тяга к свету, сквозь все невзгоды собственной, сложной, рано изуродованной революцией, гражданской войной, сталинщиной и минувшим режимом, но все равно, несмотря на пережитые драмы и трагедии, чистой, возвышенной, насыщенной событиями, полноценной, плодотворной, в прямом смысле этого слова – творческой, прекрасной жизни.

Мария Николаевна, сколько ее помню, никогда никому ни на что не жаловалась, всеми силами

стремилась никогда никому не быть в тягость, никогда никого не поучала, не учила жить.

Она сама была дивным примером жизнелюбия и жизнетворчества, она всегда шла по своему собственному, когда-то избранному ею, пути, и это был – именно Путь.

Она была человеком волошинского круга.

В коктебельском мире она была – Мусей, так звал ее Волошин, и волошинские акварели, именно с таким обращением к ней в дарственных надписях, висели на стенах в ее доме, – тогда как ее старинная подруга, вдова Волошина, Мария Степановна, была – Марусей.

Были у Марии Николаевны и еще две давние подруги – Надежда Януарьевна Рыкова, поэтесса и переводчица, и Анастасия Ивановна Цветаева, младшая сестра Марины Цветаевой.

Постоянно окружали ее и другие, довольно многие, достаточно близкие ей люди.

Она дружила с Григорием Николаевичем Петниковым, жившим в Старом Крыму и наведывавшимся в Коктебель, настоящим и тонким, с ведическим мироощущением, почему-то недооцененным, как это у нас в стране сплошь и рядом бывает, поэтом, другом Хлебникова, человеком образованным, деликатным, ясным, особенным и для меня самого человеком, о котором я обязательно еще скажу.

Мы, коктебельцы, когда-то – сами еще молодые, в прежние годы ходили, бывало, в Старый Крым пешком.

Это был один из своеобразных коктебельских ритуалов. Полагалось тогда, будучи в Коктебеле, хотя бы разок сходить в Старый Крым.

Надо сказать, пешие эти прогулки – многого стоили. И все они – в памяти.

Мы собирались небольшой группой – и отправлялись в путь, по горам, среди киммерийской природы.

И Мария Николаевна всегда передавала привет Петникову.

И я заходил к Григорию Николаевичу – и обязательно передавал ему этот привет.

И Петников – мгновенно, прямо на глазах, – весь расцветал. Действительно, расцветал. Глаза его начинали вдруг лучиться, лицо преображалось, черты лица становились мягче.

Он оживал, молодел. Голос его теплел, в нем проскальзывали нотки волнения.

Он улыбался по-юношески, даже по-детски, наивно, смущенно, радостно, искренне, распахнуто как-то, светло.

Он ликовал – так мне казалось.

Он, старокрымский затворник, явно дорожил этими приветами.

Он дорожил дружбой с Марией Николаевной. Более того: он гордился этой дружбой.

Сама же Мария Николаевна говорила о Петникове с неизменным пиететом, всегда выделяя его из числа остальных своих знакомых – тех, из старшего поколения.

Говорила она о Петникове – всегда с особым теплом, и даже с любовью, – ну конечно, с нею – дружеской, человеческой любовью.

Все, как обычно это бывало у нее, сводилось к сжатой, четкой формуле:

– Григорий Николаевич – настоящий поэт. Образованный человек. Талантливый. Воспитан. Учтив с дамами. Внимателен. Мы с ним очень дружим. Давно дружим.

Порой вспоминала слова Петникова:

– Писать – легко. Вычеркивать трудно!

Я замечал, что, говоря о Петникове, Мария Николаевна и сама всегда преображалась.

И она вдруг хорошела, молодела, словно озарялась вспыхнувшим негаданно ясным светом.

В голосе ее звучали не просто теплые интонации, но – мелодия, мелодия нежности.

А глаза – многое говорили они без слов, эти ее выразительнейшие, сияющие глаза.

Возможно, это была не просто дружба двух людей старшего поколения, а более глубокая, более крепкая, более важная связь двух душ, двух сердец.

Вспоминаю забавные рассказы Марии Николаевны о том, как, в начале двадцатых годов, живя в доме у Волошина, они с Надеждой Януарьевной Рыковой, две подруги, обе задорные, острые на язык, донимали Брюсова своими, вроде бы и наивными, невинными, но на поверку – не просто колкими, острыми, а, скорее, жалящими придирками, всяческими вопросами, довольно жесткими суждениями – и доводили его буквально до бешенства, – причем объединенному и целенаправленному напору их сам Брюсов, как это ни удивительно, при его-то всегдашней готовности к полемике, и противопоставить-то ничего толком не мог, – а только, слушая их, терялся, тушевался, раздражался и в итоге пасовал, сдавался.

Молодое поколение, в лице двух юных дам, обезоруживало его и побеждало.

Хотя и сам ведь Брюсов был далеко еще не старик. Ну сколько ему было тогда – лет пятьдесят? А вот выдохся, видно, в прежних дебатах и боях. Состарился преждевременно. Внутренне. Душевно. И пороха, нужного для полемики запала – уже не хватало у него.

Может быть, он действительно был уже дряхлым, опустошенным, уставшим от всего и всех человеком.

Вспоминаю забавные рассказы Марии Николаевны о том, как, в начале двадцатых годов, живя в доме у Волошина, они с Надеждой Януарьевной Рыковой, две подруги, обе задорные, острые на язык, донимали Брюсова своими, вроде бы и наивными, невинными, но на поверку – не просто колкими, острыми, а, скорее, жалящими придирками, всяческими вопросами, довольно жесткими суждениями – и доводили его буквально до бешенства.

Стоит вспомнить здесь его попытки приспособиться, подладиться к советской власти. Стоит вспомнить чрезмерно бурную его деятельность на культурном фронте, о которой так хорошо написал Ходасевич, а еще лучше – Марина Цветаева.

Ну и, конечно, пристрастие Брюсова к наркотикам, к морфию, сказалось на общем состоянии его организма.

Вскоре после поездки в Коктебель Брюсов умер.

Мария Николаевна, вспоминая молодые свои, на пару с Рыковой, перепалки с ним, подзуживания, выпады, розыгрыши, даже сожалела, бывало, – уж не послужили ли их коктебельские атаки на служащего советской власти вождя символистов хотя бы одной из причин, хотя бы косвенной причиной смерти его, неожиданной для всех?

Нет, конечно, – успокаивала она сама себя. Причина была в другом. В том, что Брюсов был уже весь разрушен – и физически, и духовно – разрушен. Что поделаешь? Как ведет себя человек в жизни – очень важно. Это прямым образом сказывается и на творчестве его, если это человек творческий, и на судьбе.

Острый же язычок Марии Николаевны проявлялся порою и жалил кого полагается – и в последующие годы.

Некоторые выпады ее, тирады и характеристики различных, попавшихся к ней на язык, как говорится, персонажей – бывали блестящими, собранно-меткими, били в точку, несколькими характерными, обдуманными штрихами давали такой портрет конкретного человека, что это надолго запоминалось.

Никогда Мария Николаевна этим не злоупотребляла. Но было это – оружие. И все ее знакомые прекрасно об этом знали.

Помню Анастасию Ивановну Цветаеву – худенькую, светящуюся грустным и ясным светом памяти своей и судьбы, с развевающимися на коктебельском ветерке белыми волосами, – и эти прикосновения приморского ветерка, бриза, – молодили ее, и в лице ее, худом, живом, словно пульсирующем от избытка силой воли сдерживаемых чувств и эмоций – угадывались порою и черты лица старшей ее сестры.

Помню лежащие грудами в комнате Марии Николаевны, и на рояле, и вокруг него, письма и открытки Анастасии Ивановны, ее дарственные надписи на журнальных публикациях и книгах, – довольно крупный, неровный, корявый, валкий, но – упорный, весь в движении, устремленный вперед, несгибаемый почерк.

Переписку они поддерживали довольно интенсивно. Она была продолжением их бесед, с годами – все более редких, но это и понятно – почему так получалось.

В письмах Анастасии Ивановны были рассказы о своем житье-бытье, просьбы, рекомендации для собиравшихся приехать к Марии Николаевне знакомых, сообщения о своих литературных делах, о том, чем занята, что она пишет, а главным был тон, из которого следовало, что жизнь – замечательная штука, и надо в этой жизни и по-настоящему дружить, и много работать.

Некоторые кусочки из цветаевских писем, под настроение, Мария Николаевна, случалось, зачитывала мне вслух.

В голосе ее звучала тогда – любовь.

Она любила Цветаевых, обеих. Любила вообще все, что связано было с обеими сестрами. Любила поэзию Марины Цветаевой. Иногда, редко, после чтения цветаевских стихов, ворчала:

– Кликуша!

Ворчала – любя.

И тут же все ставила на свои места:

– Но какой поэт!..

Она любила и Ахматову. Очень любила. И – в разговорах со мною – иногда вроде бы и отдавала ей предпочтение. Но именно – вроде бы.

Любила она стихи обеих – и Цветаевой, и Ахматовой.

С Ахматовой была она знакома. В комнате Марии Николаевны всегда висела ее фотография.

Между прочим, рассказывала мне Мария Николаевна, что приходилось ей стоять, в тридцатых годах, в Ленинграде, вместе с Анной Андреевной, – в очередях, тех самых, тюремных, из ахматовского «Реквиема» – помните?

«Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, Царскосельской веселой грешнице, что случится с жизнью твоей, – как трехсотая, с передачею, под Крестами будешь стоять и своею слезой горячею новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, и ни звука – а сколько там неповинных жизней кончается...»

Это там, именно в этих очередях, – было то, о чем Ахматова пишет в предисловии к «Реквиему»:

«В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то “опознал” меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

– А это вы можете описать?

И я сказала:

– Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом».

И с Павлом Николаевичем Лукницким, человеком, создавшим летопись жизни и творчества Николая Гумилева, а потом собиравшим и систематизировавшим материалы о жизни и творчестве Анны Ахматовой, в молодости дружила Мария Николаевна.

Помню старую фотографию: вместе с широко улыбающимся красавцем, Павлом Лукницким, плывут в лодочке две красавицы-сестры Изергины.

Мария Николаевна иногда Лукницкого вспоминала.

Говорила о нем:

– Прекрасный человек. Из культурной семьи. Дворянин.

Или, с явным, гордым одобрением в голосе:

– В Александровском корпусе учился. В Пажеском корпусе учился. Красив был – невообразимо!..

И, словно резюмируя:

– Молодец! Многое для русской культуры сделал!..

Ее общение с людьми было вообще очень широким.

В этом, с годами все расширяющемся, означенном светом высокой духовности круге находились и прекрасно уживались представители сразу нескольких поколений, от стариков до зеленой молодежи.

Помню на веранде у Марии Николаевны скульптора Анатолия Ивановича Григорьева – скульптора очень серьезного, очень крупного, – и, как это ни досадно, все еще должным образом не оцененного, хотя многообразное и сложное творчество его давно говорит само за себя.

Надо – смотреть и видеть. Но еще и – увидеть. И понять. Искусство – может подождать, конечно. Может – ждать. Годами. Десятилетиями. И даже веками.

Если оно настоящее, то – увидят, наконец. И поймут, даст Бог. Так и будет – потом, в грядущем.

Но – насколько же лучше стали бы люди, если бы они многое увидели и поняли – вовремя!

Григорьев довольно долго пробыл в сталинских лагерях.

Огромное количество его работ – погибло.

Его пасынок, Юра Арендт, рассказывал мне, что одиннадцать грузовиков работ григорьевских были в свое время вывезены из мастерской его и оставлены где-то на хранение, да там и сгинули.

Григорьев был женат на Ариадне Александровне Арендт, представительнице знаменитой династии врачей, когда-то – выходцев из Швеции, давно обрусевших, – и один из Арендтов лечил Пушкина.

Ариадна Александровна сама была великолепным скульптором.

А еще она была – старинной, близкой подругой Марии Николаевны Изергиной.

Григорьев и Арендт построили себе дом в Коктебеле, дом с двумя небольшими мастерскими. Они жили здесь подолгу – и оба много работали.

В период СМОГа, весной шестьдесят пятого года, скульптор Геннадий Бессарабский познакомил меня с Григорьевым.

Анатолий Иванович звал меня к себе в Коктебель:

– Приезжайте, Володя! Будете жить у нас.

Я был изгнан из московского университета. Многие мне сочувствовали. Известность моя в Москве была тогда велика.

Григорьеву очень нравились мои стихи. Он слушал, как я их читал, в мастерской Гены Бессарабского, при свечах, где Гена сидел в своем инвалидном кресле чуть в стороне от всех, а за длинным

деревянным столом сидели Генина жена, Маша, поразительной доброты и внутреннего света женщина, и Григорьев, живо реагировавший на каждое слово стихов, небольшой, но такой уж ладный, что хотелось сказать – крепенький, в очках, поблескивающих отсветами мерцающих свечей, с несколько всклокоченной бородкой, и слушал стихи, и всплескивал руками, и все звал меня к себе:

– Приезжайте к нам! У нас вам будет хорошо, Володя!..

Но я уехал тогда на Тамань, в археологическую экспедицию. Меня вела – судьба.

Беспокоить своим присутствием в доме двух пожилых людей – Анатолия Ивановича и Ариадну Александровну – я стеснялся.

В Коктебеле – заходил к ним, тогда, когда удавалось вырваться из экспедиции, ненадолго, – в Крым, в том же шестьдесят пятом. Да и позже навещал двух этих замечательных скульпторов.

Так получилось, что с Григорьевым был я знаком даже немного раньше, чем с Марией Николаевной Изергиной. Но – все в том же, столь значимом для меня, шестьдесят пятом году.

Вспоминаю Ариадну Александровну Арендт, сидящую в инвалидном кресле, в своем коктебельском доме, тихую, светлую, поднимающую к людям, к солнцу свое открытое миру и свету, судьбе и творчеству, прекрасное, исполненное благородства и внимания, чистое лицо, ее чуткий, полный участия ко всему происходящему в доме и бесконечного терпения, очень ясный, все запоминающий взгляд, выражение глаз ее – горестное и радостное, ее седые, убранные назад, волосы, ее крепкие, крупные, сильные руки – рабочие руки, руки мастера, ее прямой, как у Гете, нос, ее густые брови и высокий, чуть загорелый лоб, вспоминаю исходящую от нее, от всей ее фигуры, от этой породистой головы, от этих творческих рук, этих творческих глаз, силу, силу воли, силу духа, силу верности избранному Пути, – и снова, как и больше тридцати лет назад, восхищаюсь красотою ее, да и красотой всех этих коктебельских людей – и мужа Ариадны Александровны, Анатолия Ивановича Григорьева, тоже красивого ведь человека, и подруги Арендтов – Марии Николаевны Изергиной, и Надежды Януарьевны Рыковой, и Анастасии Ивановны Цветаевой, и Марии Степановны Волошиной, – красотою – людей волошинского круга, красотою – словно сотворенной и благословленной самим Волошиным.

Григорьев захаживал к Марии Николаевне на веранду. Они были почти ровесниками. Анатолий Иванович был на год старше. Он мог ходить – потому и приходил порой сюда, один.

А вот Ариадну Александровну надо было – навещать. Что и делала Мария Николаевна с большой охотой, навещая свою подругу Алю на протяжении долгих лет.

Дружба Арендтов – так все называли эту супружескую пару – с Марией Николаевной – целая эпопея. Или, скорее, летопись. Во всяком случае – это одна из важных страниц в истории русской культуры.

И чрезвычайно важно было бы, если бы сын Ариадны Александровны, Юрий Арендт, сам обо всем этом рассказал.

В моем коктебельском доме есть каталог произведений Ариадны Александровны, каталог ее выставки.

На титульном листе – надпись:

«Дорогому Владимиру Алейникову, одареннейшему поэту, сердечно, А. Арендт, Ю. Арендт. 23.IX.1991».

Две подписи. Григорьева тогда уже не было в живых.

Ариадна Александровна написала воспоминания о некоторых близких ей людях, начиная с Волошина.

Пора и Юре писать свои воспоминания. Ей-богу, пора!..

По складу ума своего была Мария Николаевна Изергина независимой в суждениях, сдержанной в выражении собственных чувств, но была и удивительно внимательной к окружающим ее людям, даже порой готовой к самопожертвованию, способной на все одним махом решающие поступки.

Нередко она первой делала шаг навстречу новому для нее человеку, угадав в нем то, что считала подлинным.

Так, в годы моей молодости, навсегда связанной с Коктебелем, было и со мной.

Наша встреча оказалась для обоих – знаковой.

Очень многому я у нее научился. Просто очень многому. Перечислять, чему именно, я не стану. Это – в памяти, в сердце, в душе. Поверьте на слово.

Очень многое, с огромным тактом, ненавязчиво, но и целенаправленно, зная, что будет это мне только на пользу, дала она мне.

По натуре была она, конечно, мистиком – не занудным, западного толка, а настолько оригинальным и тонким, не зависимым ни от кого, была – сама по себе, со своими парадоксами, прозрениями, выводами, проникновениями в тайное, которое так любила она превращать в явь, что и сопоставить-то не с кем.

По натуре была она, конечно, мистиком – не занудным, западного толка, а настолько оригинальным и тонким, не зависимым ни от кого, была – сама по себе, со своими парадоксами, прозрениями, выводами, проникновениями в тайное, которое так любила она превращать в явь, что и сопоставить-то не с кем. Она порой казалась мне ведической богиней Явью, а дом ее – храмом Яви.

Она порой казалась мне ведической богиней Явью, а дом ее – храмом Яви. Потому что ее Явь, ее настоящее – оказывались вне категорий, изобиловали жизнетворной энергией бытия.

Была она отменно образованна. Всегда приятно это подчеркнуть. Читала и говорила на нескольких языках.

В семье у них все были образованными людьми.

Семья жила в Симферополе, в собственном доме. Имелось и загородное поместье.

Отец Марии Николаевны родом был из Тверской губернии, занимал какую-то важную должность в Крыму.

Вспоминая своего отца, Мария Николаевна непременно подчеркивала, как он, позаимствовав понравившееся ему изречение у кого-то из древних, любил приговаривать:

– Там, где я, – нет провинции!

Этим лишний раз давал он понять окружающим, что умный и способный человек, живя в любом месте российской державы, всегда найдет применение своим способностям и силам – на пользу отечеству, разумеется.

Отец состоял на государственной службе и с обязанностями своими, судя по всему, справлялся прекрасно.

Да и в общественной жизни Крыма, и в культурной жизни процветавшего до революции полуострова был он фигурой заметной.

А мать Марии Николаевны, красавица-англичанка, занималась воспитанием детей – двоих дочерей.

Надо сказать, это ей удалось.

Обе сестры Изергины были начитанны, образованны, музыкальны, с малых лет владели иностранными языками, обе тяготели к искусству, – будучи при этом обе хороши собою, прелестны, обаятельны, талантливы и умны.

Младшая сестра Марии Николаевны в дальнейшем была известным искусствоведом, долго работала в Эрмитаже.

Мария Николаевна была известной певицей. Голос у нее был просто чудесным – настоящее сопрано. Кроме того, была она и прекрасной пианисткой, аккомпаниатором.

Она работала в театре, позднее – преподавателем музыки и пения в разных музыкальных учебных заведениях.

До войны – училась и работала. Во время войны – постоянно бывала с концертами на фронте. После войны – опять работала.

Году в пятьдесят седьмом она окончательно поселилась в Коктебеле. Построила себе дом.

Главнейшим же даром Марии Николаевны – был дар общения с людьми. Он заключал в себе поистине уникальный синтез – всех искусств, человеческих способностей, дарований, качеств и достоинств, ума, такта, обаяния, понимания людей – и еще столького, всякого, самого разного, соединенного воедино, параллельного и сопутствующего, врожденного и приобретенного в результате жизненного опыта, что лучше вовремя прекратить – хотя бы пока что, на некоторое время, – уже назревающий перечень многих выдающихся достоинств этой женщины.

Итак, семья Изергиных жила в Симферополе.

О том, что значила для этой благополучной, счастливой семьи смена власти в стране и сколько бед всем им пришлось претерпеть, я распространяться не стану.

Вспомню лучше рассказанный мне однажды Марией Николаевной эпизод из времен Гражданской войны.

Мать Марии Николаевны была женщиной с очень развитым чувством собственного достоинства, с яс-

ным умом и твердым характером. В любой жизненной ситуации она оставалась верна своим принципам и не теряла присутствия духа.

Случилось так, что в симферопольский дом к Изергиным нагрянул, неожиданно для всех, отряд красноармейцев с жестким предписанием реквизировать имущество у буржуев.

Красноармейцы вели себя вызывающе. Всем видом своим они словно показывали: ну вот сейчас вы свое получите!

Особенно преуспел в этом командир отряда, молодой парень вполне заурядного, простецкого вида.

Он прямо-таки пылал ненавистью к буржуям и эксплуататорам трудового народа, просто изнывал от нетерпения – немедленно начать отбирать все подряд. Он так горел этим желанием – реквизировать все имущество в ненавистном ему доме, у неизвестных ему, но тоже ненавистных, каких-то там Изергиных, что, казалось, вот-вот вспыхнет, как сухой хворост или как спичка. Он то бледнел, то багровел – то ли от повышенного осознания им своего революционного долга, то ли от ярости и гнева.

Он желал – отобрать все, до последней ниточки. Для дела революции, понятно. Не для себя же. Он был революционный идеалист. Встречались тогда и такие, и в немалом числе.

Он был грозен в своем порыве. Его уже несло. Он кричал. Он надвигался на Изергиных, крича и ругаясь. Он не владел собой. Ему надо было – действовать!

Сестры Изергины под натиском ворвавшихся в их дом чудовищ растерянно жались к роялю. От отчаяния они готовы были зарыдать. Но они сдерживали себя. Они были – Изергины. Нельзя было показывать революционной солдатне свою слабость.

Их мать, красивая, статная, неподвижно стояла посреди комнаты.

Командир отряда вплотную придвинулся к ней и торжествующе сказал:

– Ну, все. Начинаем! Вон сколько здесь добра!

Мать Марии Николаевны спокойно сказала ему:

– У меня есть охранная грамота!

Тот запнулся, насторожился:

– Где? Как? Почему это? А ну, покажите!

Мать, ни на секунду не теряя самообладания, держась, по возможности, уверенно, независимо, а по привычке – прямо, с достоинством, подошла к секретеру, выдвинула неторопливо ящик, вынула оттуда первую попавшуюся бумажку, какую-то старую квитанцию, – и протянула ее командиру:

– Вот, пожалуйста! Читайте!

Тот схватил протянутую ему бумажку и впился в нее глазами.

И вдруг он покраснел, как-то замялся, стушевался, сник.

Что вело эту смелую женщину? Что заставило ее так рисковать? Каким чутьем поняла она, что командир красноармейцев – неграмотен? Трудно сказать. Думаю, было это наитие. Даже озарение.

А теперь она твердо знала: этот простецкий с виду молодой парень – совершенно точно не умеет читать!

Командир отряда поводил по бумажке глазами, повертел ее в руках, нарочито придирчиво присмотрелся к имевшейся на бумажке печати, пошевелил зачем-то губами, будто еще раз внимательно читая текст, – да и протянул эту завалявшуюся в ящике секретера старую квитанцию молча стоящей перед ним прямой и стройной даме:

– Все в порядке! Охранная грамота на имущество имеется. Извиняйте за беспокойство.

Мать Марии Николаевны невозмутимо взяла бумажку и положила ее обратно в секретер. Задвинув поплотнее ящик, она повернулась к командиру красноармейцев и внимательно, с укором, посмотрела на него.

Тот окончательно смутился. Надо было срочно выпутываться из создавшегося неловкого положения.

– Хлопцы! – стараясь придать своему срывающемуся голосу должную уверенность, обратился он к ожидающему его команды отряду. – Ошибочка вышла. Айда отсюда!

И отряд, громыхая по полу сапогами и прикладами винтовок, удалился из дома.

Громко хлопнула за ними входная дверь – и все затихло. Сестры Изергины потрясенно смотрели на мать.

Мать – смотрела на дочерей.

Потом она снова достала спасшую их случайную квитанцию.

Все вместе, втроем, они стояли и смотрели на эту бумажку. Это была – немая сцена, прямо как в спектакле.

Некоторое время длилось общее их молчание.

И только потом все трое дружно расхохотались.

Смех смехом, а дом был спасен.

Пока что спасен. А потом...

Еще эпизод, из той же эпохи.

Юная Мария Николаевна ехала в поезде.

Зачем-то понадобилось ехать.

Ехала она всего-то – от Симферополя до Бахчи-

сарая. Но – в битком набитом людьми вагоне, и даже не в вагоне, а в тамбуре. Ехала она целый день.

И в этом тамбуре так плотно стояли пассажиры, со своими мешками и вещами, что, попытавшись хоть немножко продвинуться вперед и подняв ногу, Мария Николаевна уже не сумела поставить ее обратно на пол: места не было.

Так и простояла она, целый день, до самого Бахчисарая, на одной ноге.

Когда-то, очень давно, в юности или даже в отрочестве, Марии Николаевне гадала цыганка.

Эта цыганка нагадала, что проживет Мария Николаевна девяносто три года.

Об этом необычном, странном гадании много раз Мария Николаевна вспоминала.

И ведь в самом деле, гадание отдавало пророчеством.

Так ведь все и случилось.

Мария Николаевна, получается, словно закодировала себя на все свои годы. И прожила действительно девяносто три года. Еще и на полгода больше – из упрямства ли, вопреки ли конкретике предсказания, или просто – от рисковости, бывшей в ее характере, – ну прямо как ее мать, протянувшая командиру красноармейского отряда вместо охранной грамоты случайную бумажку, или еще по какой причине, – уж и не знаю, – но это была Мария Николаевна, а не кто-нибудь, и она и в этом отчасти победила судьбу, и воля ее оказалась сильнее воли цыганки-гадалки.

Мария Николаевна была настоящей дамой, – той, прежней еще, самой крепкой, закалки.

Передать это я даже и не берусь.

Это следовало видеть самому, это надо было оценить, прочувствовать.

Сколько шарма и всепокоряющего обаяния таилось в этой невысокой, до глубокой старости стройной, с прекрасными манерами, с прямой спиной, с открытым, лучистым взглядом голубых глаз, с изящными маленькими руками, с чудесными пушистыми волосами, и вовсе не хрупкой, нет, крепенькой, ладной, пропорционально сложенной женщине, которую и язык-то ни у кого не поднимался назвать старухой!

Какая там еще старуха? Чушь!

Молодость, вечная, как весна, всегда жила в ней.

Она умела быть естественной в отношениях абсолютно со всеми, сразу находила общий язык и с теми умниками из интеллигентской среды, что называются высоколобыми, и с местными жителями, и со старинной ее, задушевной приятельницей, молочницей Клавой, добрых сорок лет, наверное, приносившей к ней на веранду свежее, недавно надоенное молоко и страсть как любившей присесть ненадолго, потолковать о том о сем.

Вот уж кто любил Марию Николаевну – так это Клава.

Иногда я вижу ее в поселке.

Клава, женщина простая, деревенская, истовая труженица, одна, без давно умершего мужа, вытаскивающая на своих плечах огромное свое хозяйство, в котором, помимо целого стада коров, есть еще и всякая домашняя птица, и кабаны, и кошки, и собаки, Клава, работающая, год за годом, от зари и до зари, и вместе с тем натура еще и романтичная, поэтическая, потому что, разыскивая порой своих разбредшихся по окрестным холмам коров, любит она думать свои думы, провожает улетающих на юг журавлей, сочиняет даже собственные песни – и поет их, там, подальше от всех, на холмах, для души, – Клава, человек очень хороший, верный Марии Николаевне человек, вспоминает ее с такой любовью, с такой нежностью, находит для выражения своих мыслей и обуревающих ее чувств такие светлые, предельно искренние, глубокие и добрые слова, что у меня порой слезы наворачиваются на глаза, когда я слушаю ее сбивчивые, но просто потрясающие меня своей откровенностью и неугасимой любовью речи.

Вот что значит душевная связь, незаметно, да зато уж навсегда, переросшая в духовную!

И все это – Мария Николаевна. Ее воздействие. И ее свет.

Иногда мне кажется, что она все видела насквозь.

Когда-то сказанное ею – сбывается.

Все связанное с нею – с годами обретает особый, более глубокий смысл.

В конце ноября девяносто первого года сидим мы вдвоем у Марии Николаевны на веранде, беседуем потихоньку.

Речь зашла об архетипах.

Мария Николаевна:

– Вот, кстати, об архетипе. Мария Степановна Волошина. Помните ее, Володя?

Я:

– Ну еще бы!

Мария Николаевна:

– Так вот что я вам скажу. Мария Степановна взяла на себя роль Бабы-яги. Да-да. Сидит в избушке. То есть у себя в доме. В своем доме. В волошинском доме. В Доме Поэта. Сидит, охраняет дом. Сохраняет дом. Кому хочу – открою, захочу – не пущу никого!

– А ведь точно! – согласился я. – Каково ей было все сберечь в целости и сохранности? Ведь другого такого, до любой мелочи сохраненного, дома – нигде больше в мире нет.

Мария Николаевна:

– Помните эту историю с дамой, этакой из себя, женой какого-то крупного партийного чиновника, той, что рвалась в Дом Поэта, прямо-таки с боем рвалась, – посмотреть «руку Волошина»? И Мария Степановна ее – не пустила!

– Помню, – сказал я.

– Баба-яга! – убежденно сказала Мария Николаевна. – Была Мария Степановна – Баба-Яга. Настоящая. Хорошая Баба-яга. Потому все и уцелело. Вот вам и архетип!

Как то об одном нашем общем знакомом, человеке маленького роста:

– Все маленькие мужички – Наполеончики. Маленькие Наполеончики. Уж я-то знаю. Навидалась. Повадки, амбиции – Наполеончиковые!.. И этот гражданин – вылитый Наполеончик!..

И опять – абсолютно верно.

Максимилиана Александровича Волошина знала Мария Николаевна с детства.

Волошин часто бывал в доме у Изергиных, в Симферополе.

В Коктебеле в первый раз побывала Мария Николаевна в двадцать первом году.

Жила она, разумеется, у Волошина.

Было голодно. Иногда – очень голодно.

В поселке имелась столовая. Там давали обеды – Волошину и его матери, которую все звали Пра.

Иногда в этой столовой кормили обедами и Марию Николаевну. И случалось даже, что выдавали, в дополнение к скудному обеду, по два куска хлеба, намазанного соленым смальцем. Роскошь! Деликатес!

Мария Николаевна, семнадцатилетняя, вечно полуголодная, так мечтала всегда – откусить, хоть немножко попробовать, хоть самую малость, чуть-чуть – откусить этого редкостного яства!

Но всегда – сдерживала себя. Проявляла силу воли.

И приносила этот намазанный смальцем хлеб – изумленному Волошину.

Что тут скажешь? Характер!

Зимними вечерами, живя в Коктебеле, оставаясь в своем доме совсем одна, садилась, бывало, Мария Николаевна за рояль – и пела, аккомпанируя себе, романсы. Для себя. Для души.

А иногда пела – «для Маруси». То есть для Марии Степановны Волошиной.

В Доме Поэта сохранились магнитофонные записи ее голоса.

Да и в первое наше знакомство – Мария Николаевна пела.

Я приехал с друзьями из экспедиции, с Тамани. Направились мы прямиком в волошинский дом. А там – обе подруги: и Маруся, и Муся.

Лето шестьдесят пятого. Июнь. Море за окном волошинской мастерской. Листва за окном гостиной. Рояль.

И – голос Марии Николаевны. Дивное, светящееся сопрано.

Сколько лет уж прошло с тех пор – а так и звучит в душе этот голос...

Или это – свет?..

Она чуяла свет, потому что была с ним в родстве.

Мне, в письме:

«Дорогой Володя! Спасибо вам за светлое письмо.

Помните, что я ваши стихи очень люблю. Они светлые и вы в них никогда не ноете. Я очень не люблю и меня раздражает это повальное трагедийное нытье и просто нытье. То, что вы прислали мне – прелестное стихотворение».

Мне моря грезятся незримые круги...

Элегия о счастье Коктебеля...

Мария Николаевна, лет двадцать, пожалуй, назад, – мне:

– Очень рада, что вы живете в ладу и с Людой, и с жизнью.

И я этому ладу – рад.

Ее внимание к людям, ее участие в их жизни, ее верность своему окружению – оказались благотворными для нескольких поколений коктебельцев, перебывавших в ее доме.

Ее мистичность была для нее столь же органичной, сколь и практическая жилка, а вернее, то умение выживать, которому она вынуждена была научиться.

Ее отношение к каждому прожитому дню, каждому событию, каждому знакомому человеку было настолько своеобычным и каким-то доверительно-предопределенным, что можно было поверить: из ничего, на пустом месте, просто ради торжества жизни и человеческой радости, она способна вырастить цветок, или сад, с виноградными лозами, на которых зреют тяжелые, сочные гроздья, со знаменитыми розами «Глория Дей», похожими на благоухающие частицы солнца, с роскошно цветущей дымчато-лиловатыми кистями, невероятной, вовсю разросшейся глицинией, раскинувшейся над домом, она способна была сама – творить.

Вот что произошло со мной месяц назад.

Сказать об этом надо, потому что это очень даже в духе Марии Николаевны и лишний раз говорит о ее присутствии в мире.

Я работал над этой книгой.

Как-то все не клеилось, мысли расползались, голова побаливала.

Бывают такие состояния, когда пишешь большую вещь, – промежуточные, с раскачкой, с желанием перевести дух, а там как Бог даст, авось все и сдвинется с места, и пойдет сызнова.

Это еще и пограничные состояния, очень интересные сами по себе, когда, несмотря на замедленность работы, конкретного дела твоего, все внутри тебя обострено, все нервы, все клетки твои почему-то обладают повышенной чувствительностью, и ты понимаешь, что так надо, что состояние такое – почва для нового рывка, для подъема духа, и надо просто ждать.

Так вот, я томился чем-то, маялся, чего-то ждал.

И вдруг я ощутил словно некий зов.

Я почувствовал внутренний толчок, у меня сразу сильнее забилось сердце.

Мне тут же, незамедлительно, захотелось разыскать фотографии Марии Николаевны. Они находились где-то здесь, в моих бумагах, среди всех этих повсюду лежащих ворохов.

Я стал искать фотографии. Перерыл все бумажные груды. И нашел их – одну фотографию шестьдесят пятого года, как раз того времени, когда мы с Марией Николаевной познакомились, и три фотографии девяностых годов, очень хорошие, где образ ее был так выразителен. Я поставил эти фотографии перед собою, стал разглядывать их.

Я смотрел на Марию Николаевну. Мне казалось, что я разговариваю с нею, как и прежде, еще сравнительно недавно, на протяжении тридцати четырех лет. Я слышал ее голос, видел ее глаза.

И тогда я сел за стол и набело записал довольно большой кусок прозы – о ней. Писал я, все время видя ее перед собой.

Происходило все это днем. Когда я закончил писать и опомнился, в окне было темно и стоял глубокий вечер.

Я вышел во двор.

На западе, за Тепсенем, где находится коктебельское кладбище, в небе, совсем низко над землей, над отдаленными кряжами, несмотря на все сгущающуюся темноту, горела ровная, чистая полоса розовато-оранжевого, с золотистым искрением, ясного, не собирающегося угасать, света, – а чуть повыше в небе, но в том же направлении, сияла крупная, лучистая вечерняя звезда, на которую – я тут же вспомнил об этом – так любила смотреть из своего заполненного разнообразной разросшейся зеленью двора Мария Николаевна.

В чем же дело? Что за совпадения?

Все это – не случайно.

Я возвратился в дом, закурил и стал, довольно мучительно, потому что время, когда я помногу работаю, как-то смещается всегда у меня, движется с причудами, по-особенному, – припоминать, какое же нынче число. И вспомнил. Было двадцать девятое июня.

Ровно год назад мы в этот день захоронили на коктебельском кладбище, среди могил старых коктебельцев, урну с прахом Марии Николаевны, и народу там было немного, но зато все свои, и служил священник, и люди говорили хорошие слова, а потом, все вместе, пришли мы к Юре Арендту, где помянули Марию Николаевну, и тоже некоторые славные люди говорили о ней, и все мы вспоминали ее, и на открытой с одной стороны, просторной веранде, где мы сидели, прямо перед нами, на стене, была прикреплена фотография Марии Николаевны, тоже девяностых годов, напоминающая те, что есть у меня, что стоят и сейчас рядом.

Это ее, Марии Николаевны, был зов.

Это от нее шел ко мне творческий импульс.

Это стало мне ясно, как Божий день.

А сегодня, тридцатого июля, я переписываю фрагмент своей книги, те строки, где говорю я о Марии Николаевне, и отчетливо осознаю, почему я делаю это: завтра – тридцать первое июля, день ее рождения под знаком Льва, ей исполнилось бы девяносто пять лет.

Вот такие у нас в Коктебеле, с его особенной мистикой, бывают истории.

Все здесь взаимосвязано, как и в поэзии, все происходит не напрасно, все на своем месте здесь во времени и пространстве, и всему этому объяснение – коктебельский живучий Дух.

Вижу вас, милая, дорогая вы моя Мария Николаевна, вижу вас, там, в вашей большой, затененной комнате, вижу вас – читающей книгу, вообще читающей, всегда читающей – на тех языках, которые вы знали, а вот вы за роялем, а вот поете – редкостный голос, настоящее сопрано, а вот вы на своей веранде, где длинный деревянный стол, и деревянные скамьи по трем сторонам от него, и самодельный абажур, и всякие картинки на стенах, а там, в доме, – фотографии дорогих вам людей: очень немногие – висят, остальные, многие, – убраны, но иногда достаются, пересматриваются, и письма – тоже там, в доме,

в вашей комнате, письма – от самых разных людей, с которыми вы дружите давно, с которыми вы хорошо знакомы, с которыми вы познакомились недавно, когда они были здесь, у вас, – письма, сложенные в аккуратные стопочки, разобранные по адресатам, по годам, – и вы их тоже иногда достаете, перечитываете, да и прячете обратно, – или отвечаете своим корреспондентам, исписывая листочки-четвертушки почтовой бумаги своим очень разборчивым, неторопливым почерком, вкладываете эти листочки в заранее припасенные конверты, чтобы завтра отнести на почту, или там же, у себя в комнате, записываете вы в большеформатные тетради события и впечатления дня – одно за другим, в столбец, лаконично, четко, – привычка, но зато потом, через годы, посмотрите под настроение, что там, в этих ваших дневниках, – и сразу же отчетливо вспоминается то, что было,– и уже вечереет, но еще не вечер, скоро соберутся гости, пойдут опять разговоры, но это уж как всегда, а главное – всем здесь, у вас, хорошо, все здесь как дома, а вот утро, и вы выходите на веранду, хозяйка неповторимого, незабываемого дома, и пьете свой традиционный кофе, а по привычке, еще до завтрака, – принимаете памирское, прямо оттуда, с гор, неочищенное, натуральное, мумие, и вы оживляетесь, входите в день, выходите в свой сад, и на душе у вас покойно, и вы улыбаетесь, глаза чуть сощурены, в уголках их, под ними и во все стороны от них – веерообразные морщинки, и губы полуоткрыты, зубы целехоньки и белехоньки, лицо загорелое, головка точеная, во всей фигуре – собранность, стать, и только волосы, белые ваши волосы, легчайшие, пушистые, – вы уже перестали их подкрашивать, надоело, белейшие, ковыльные ваши волосы окаймляют ваше лицо, ваши глаза, вашу улыбку, взлетают под ветром, струятся, приникают к загорелой коже, раскидываются вокруг вас, как будто это сам солнечный свет, его струение, сияние, и в мире воцаряется лад, и так в нем светло, и так всегда радостно быть вот здесь, вместе с вами, посреди лета, посреди света, рядом.

Она тоже была человеком самиздата – и это еще более нас с нею сближало.

Мы оба были старинные единомышленники, почти заговорщики.

Она читала – все, знала – все.

Любой мало-мальски приличный поэт или прозаик, музыкант или артист, любой деятель искусства, оказавшийся в Коктебеле, считал своим долгом нанести ей визит. Хотя в девяти случаях из десяти уместнее было бы сказать: прийти на поклон.

Она разбиралась, ох как разбиралась и в текстах, и в людях.

Далеко не каждому был открыт ее дом.

Она была проницательна. Иногда, вдруг, по наитию, – прорицала. Холодом прошибало тогда оторопевших гостей.

Она была бесконечно добра к своим любимцам, но и вообще была добра к людям, в целом, несмотря на тяжелый свой жизненный опыт.

Феноменальным был ее выбор, отбор, везде и во всем: самое главное, самая суть, самое – то, и навсегда.

Она была в доску своей среди нашей неофициальной, богемной пишущей и рисующей публики.

Человек самиздата, собрала она большой архив, и в нем представлены были практически все чего-то да стоящие авторы.

У нее хранилось множество моих самиздатовских сборников, рукописей, рисунков.

Она берегла эти бумаги, держала отдельно от прочих, постоянно и внимательно перечитывала.

Она – из любви своей к моим стихам – собрала, отобрала все эти мои бумаги в свое, удельное, владение.

Она никогда не разрешала выносить эти тексты из дома.

Она вообще мало кому позволяла к ним прикасаться.

Она словно ревновала их к другим людям.

И если на папках с текстами разных других авторов были просто написаны их фамилии, то на папках с моими стихами ее рукою было крупно выведено: «Мой Алейников».

Частенько, чтобы или подразнить, или раззадорить, или осадить, или раз и навсегда поставить кого-то на место, подчеркивала она, адресуясь к гостям своим, в основном и пишущим стихи или прозу, свое особенное отношение ко мне, выделяемость ею меня из других, непохожесть на других, обособленность среди других, и это всегда действовало.

Была она человеком собственных принципов и ясной для нее, прочной позиции в жизни, с любыми ее градациями, от повседневности до высоких материй, до парения духа.

А насколько, при всей своей твердости, порой и властности, была она женственной, была женщиной, поистине прекрасной, с головы до ног, обаятельной, даже больше, обладающей той особой притягательностью, за которой встает – тайна.

Судя по фотографиям, в молодости была она удивительно хороша собою.

Невысокая, вся этакая ладная, все в ней пропорционально, ну, миловидная, и все в ней, вроде бы, как у всех, но – нет, не как у всех, а все – свое, собственное, а за светлым обликом ее – скрытый от лишних глаз и все же раскрывающийся тем, кому она верила, внутренний ее образ, духовный.

Диво дивное, да и только.

Бывают же такие чудесные люди!

Она радовалась моим, наконец-то вышедшим одна за другою и незамедлительно подаренным ей, с соответствующими теплыми надписями, книгам, – радовалась так, как не радовался, наверное, я сам.

Она постоянно держала их при себе. Никому не давала читать, даже на короткое время.

Она читала их, читала, перечитывала, она вчитывалась в тексты так, что я начинал понимать: это часть и ее жизни.

Это было – ее, родное.

А как она любила и умела слушать стихи!

Мало кому это дано.

Уговорит почитать, бывало. Сидим у нее на веранде. Я – перед нею. Она – напротив. Я читаю ей.

И вижу, краем зрения – вижу: все в ней вдруг раскрывается – глаза, все лицо, губы, она вся – слух, вся – внимание, порыв навстречу звуку, слову, и я чувствую, как стихи входят в нее, как она воспринимает их по-особому, всем, что есть в ней, движением всей фигуры ее, как-то откинутой, свободно приподнятой над прямоугольником стола, как у певчих птиц, и руки, жесты их – певучие, и это отключение себя от всего остального, лишнего, мешающего слушать, это переключение себя только на музыку стихов, на звучащую речь, эта завороженность звуком, песней, восторг, за которым – громадная память, в ней все и останется, эта ее радость общения, с глазу на глаз, один на один, и внимание, внимание, а за ним – редчайшее понимание, такое, ради чего жить стоит, – незабываемо!

Несколько позже, в начале девяностых, уже хорошо изучив мои изданные книги, она развила свою, приведенную выше, мысль, записала ее на случайном листке и отдала мне.

Вот эти ее слова:

– На фоне поэтического нытья стихи Владимира Алейникова, даже печальные, прямо-таки благовестят о свете и радости. Для меня они волшебные. Их не надо объяснять, их надо слушать.

В середине девяностых, там же, у себя на веранде, разом прекратив нелепые, раздражившие ее споры молодежи о том, кто есть кто в поэзии, – она решительно изрекла:

– Алейников – русский поэт, потому что он мыслит по-русски.

Вот что она понимала куда лучше других!

И наконец, уже незадолго до смерти, году в девяносто седьмом, она, постаревшая после перенесенного инсульта и несколько от этого напряженная, но по-прежнему внутренне собранная, малоразговорчивая, но мыслящая на удивление отчетливо и ясно, как и всегда, читавшая опять у себя в комнате мои книги, вышла вдруг на веранду, к гостям, к своим постояльцам, с палочкой, спокойная, светлая, вся – свет, белые волосы вразлет, голова вскинута, помедлила, а потом ясно и просто сказала:

– Алейников в поэзии – гений.

Господи, Мария Николаевна!..

Нет ее теперь в Коктебеле – и что-то очень существенное ушло, и наследники продали дом, а новые владельцы вознамерились построить новый, в стиле новых русских, и распорядились сломать тот, незабвенный, столь дорогой для нас всех, и почему-то очень долго его ломали, никак не хотел он исчезать – да потому, что велика там была концентрация духа, огромна была накопленная почти за сорок лет энергия, – и разрешили эти новые владельцы окрестным жителям, всяким хватким теткам, забрать все, что приглянется, – не только мебель, утварь, но и книги, и бумаги, и вообще все, что находилось в изергинском доме, – те и стали тащить, увозили добро тачками, машинами, несли на руках, и все растащили, совершенно, все, – и образовалось на месте дорогого дома – чудовищное зияние, и засохла от обиды оставленная было для красоты глициния, захирел сад, оставленный на хранение соседям рояль пожирают жуки-древоточцы, сложенные во дворе стройматериалы потихоньку разворовали, дохнуло таким запустением, что сердце сжималось, когда увидишь его, – но ведь это была Мария Николаевна, и это была особая коктебельская мистика, а потому далеко идущие планы новых владельцев рухнули в одночасье, грянул гром, разразился прошлогодний августовский кризис, деньги в банке у новых владельцев «накрылись», строительство нового их дворца заглохло – да и вряд ли будет возведен на этом вот оскверненном месте достойный дом! – а тот, прежний, дом Марии Николаевны, ее дом, всех нас – дом, жив, существует, пусть и в памяти, но он есть, потому что жив и дух Коктебеля, – и порой идем мы вдвоем с закадычным моим и самым верным другом, большим, десятилетним эрдельтерьером Ишкой, Ивасиком, которого так любила Мария Николаевна, и сам он очень ее любил,

идем мы с ним возле Долинного переулка, где был дорогой для нас дом, – и вдруг Ишка вытягивает голову, напрягается, вглядывается вперед, а потом, натягивая поводок, рвется туда, к Марии Николаевне, оглядывается на меня – ну идем, идем туда скорее! – словно чует что-то впереди, и тянет меня туда, спешит, и я иду за ним, и вот мы приходим – на руины радости...

И все-таки верю я, что в эти минуты Мария Николаевна – именно там, с нами, у себя, в своем доме.

Белые волосы вьются, плещутся на ветерке. Поднята высоко и гордо точеная голова. И улыбка – ну кто еще так улыбался? И эти глаза, голубые, с прищуром.

Вот она машет рукой. Сейчас услышу и голос. Ну, здравствуйте.

– Вы ждете?
– Да.
– Вы рады?
– Да.
– Вы бессмертны?
– Да.

Легкая, ладная. Светлая, светлая.

Горлицы кличут, и собираются в небе, клубясь, облака, с картин Богаевского прямиком переходят в небо над нами, и над Святой горою плотная шапка облачка, будет дождь, будет плач, будет радость в природе, пахнет сизой полынью, пахнут розы, склоняясь над низкой оградой, будет дождь, по холмам порыжевшим проходят лиловые тени, серебром растекаются заросли диких маслин, пробивается солнце сквозь вязкую мглу над расплеснутым чашею морем, будет новая жизнь, будет свет над седой головой.

Будет все, что должно обязательно быть, что не может не быть, будет мир над землей благодатной, и воскреснет, я знаю, благословенный ваш дом.

Смотрит на меня с фотографий Мария Николаевна, внимательно смотрит.

И я смотрю на нее.

Она жива. В Коктебеле вечер. Поют сверчки и цикады. Звезды совсем близко, за ветвями деревьев. Собирался было дождь, но прошел стороной. Тепло и тихо, темно и светло.

Слышу ее голос. Она просит меня почитать ей стихи.

Никто нам не мешает. Мы вдвоем среди этого летнего вечера.

Да, Мария Николаевна, я почитаю вам.

Вот хотя бы это, написанное летом шестьдесят пятого года, когда, познакомившись с вами, я впервые побывал в вашем доме, стихотворение.

Вы пришли в Дом Волошина, где мы четверо – я, Михалик Соколов, Аркадий Пахомов и Фергес Фрейзер – приехавшие с Тамани, прямо из археологической экспедиции, усталые, худые, молодые, сидели у Марии Степановны Волошиной, – помните?

Мы разговорились тогда, и мне даже не показалось, и не подумалось, а поверилось, что знаком я с вами давным-давно.

Вы пели тогда. Как вы пели! Мы слушали, слушали вас. Близился вечер, нам надо было где-нибудь переночевать. Михалика и Фергеса оставила у себя Мария Степановна.

А меня с Аркадием вы повели к себе.

И сейчас я до секунды, отчетливо, помню поразительное ощущение от ночлега в вашем доме – душевный покой, веяние свободы, распахнутое на юг окошко, ночной ливень, утреннюю свежесть окружающего мира и вашего сада, с ясной синевой и умытой зеленью в окне, с заглядывающими в комнату золотистыми розами, – и вас, улыбающуюся мне, говорящую утренние добрые слова, и весь этот коктебельский день с вами, и вечер, и чувство светлой радости, охватившее меня, измотанного тяжелыми для меня событиями после разгрома СМОГа, измученного неопределенностью моего существования, но спасающегося, как всегда, творчеством.

– Когда, раскрывая окно, мы слышим кружение влаги...

Да, строй был рожден именно тогда, летом шестьдесят пятого. Книга, так и называющаяся, «Лето 65», была написана. Все это вы прекрасно помните, как и все последующие чтения стихов из этой и из других моих книг – здесь, на вашей веранде.

Но давайте-ка вместе с вами перенесемся сразу в девяносто первый год, когда, поселившись в Коктебеле, я писал «Скифские хроники».

Вы были тогда первой слушательницей и читательницей этих стихов, и дружили мы с вами уже двадцать шесть лет, – вот ведь как время шло. Зато вы были совсем рядом.

Тирсы Вакховых спутников помню и я, все в плюще и листве виноградной, – прозревал я их там, где встречались друзья в толчее коктебельской отрадной. Что житуха нескладная – ладно, потом, на досуге авось разберемся, вывих духа тугим перевяжем жгутом, помолчим или вдруг рассмеемся. Это позже – рассеемся по миру вдрызг, позабудем обиды и дружбы, на соленом ветру, среди хлещущих брызг, отстоим свои долгие службы. Это позже – то смерти пойдут косяком, то увечья, а то и забвенье, это позже – эпоха сухим костяком потеснит и смутит

вдохновенье. А пока что – нам выпала радость одна, небывалое выдалось лето, – пьем до дна мы – и музыка наша хмельна там, где песенка общая спета. И не чуем, что рядом – печали гуртом, и не видим, хоть вроде пытливы, как отчетливо все, что случится потом, отражает зерцало залива.

Ну вот еще это стихотворение, вы любили его.

Оно – о самом важном для меня и для вас, о том, что в искусстве – навсегда.

Откуда бы музыке взяться опять? – оттуда, откуда всегда внезапно умеет она возникать – не часто, а так, иногда. Откуда бы ей нисходить, объясни? – не надо, я знаю и так на рейде разбухшие эти огни и якоря двойственный знак. И кто мне подскажет, откуда плывет, неся паруса на весу, в сиянье и мраке оркестр или флот, прощальную славя красу? Не надо подсказок, – я слишком знаком с таким, что другим не дано, – и снова с ее колдовским языком и речь, и судьба заодно. Мы спаяны с нею – и вот на плаву, меж почвой и сферой небес, я воздух вдыхаю, которым живу, в котором пока не исчез. Я ветер глотаю, пропахший тоской, и взор устремляю к луне, – и все корабли из пучины морской поднимутся разом ко мне. И все, кто воскресли в соленой тиши и вышли наверх из кают, стоят и во имя бессмертной души безмолвную песню поют. И песня растет и врывается в грудь, значенья и смысла полна, – и вот раскрывается давняя суть звучанья на все времена.

Я немного устал, простите, Мария Николаевна. Передохну. Отвык читать. Не то что в прежние годы. Вы знаете. И простите меня, пожалуйста, за то, что в девяностых, когда мы с вами жили так близко друг от друга и так часто виделись, не всегда я откликался на ваши просьбы почитать вам стихи. Отнекивался, чудак, – мол, потом как-нибудь. Вы – понимали. Вздыхали и ждали. Это «потом» тянулось годами. Вы, любившая слушать мои стихи с голоса, читали их с листа, в моих книгах. И только изредка я словно спохватывался и читал вам. Ах, как вы слушали! Как не хватает мне вас теперь.

Вспомнил сейчас: читал я у вас вот это стихотворение, только что прочитанное, и у вас были люди на веранде, и кто-то с видеокамерой записал это чтение, – и, наверное, кассета с этой записью есть у этого кого-то, но мы-то с вами так ее и не видели. Так вот всегда и бывало у нас с вами. У кого-то есть наши фотографии, где мы вместе, рядом. У кого-то – еще что-то. А что у нас? У нас, Мария Николаевна, есть нечто неизмеримо большее – наше общение, которого теперь, это уже совершенно отчетливо ясно, ничем не заменишь, наша с вами дружба, которая для меня свята.

Что? Уже и полночь миновала? Вот ведь как бывает, за разговором. Ну, вот и ваш день. Тридцать первое июля. Поздравляю вас с девяностопятилетием. Для вас это не возраст. Вы для меня всегда молоды и светлы. Улыбаетесь? Но это правда. Я знаю, вы живы. Дай вам Бог еще долгих лет жизни – в памяти людской. И мне вы желаете того же? Спасибо. Я хорошо помню все, что говорили вы мне на протяжении тридцати трех лет наших встреч. Да, я постараюсь еще пожить и поработать. Надо еще очень многое сделать.

Вы спрашиваете меня об этой вот моей книге прозы? Да, я пишу ее. И напишу. Как и остальные книги об ушедшей эпохе и населяющих ее людях. Вы ведь хорошо меня знаете, я максималист. Замыслы всегда у меня огромные. Вот, с Божьей помощью, и воплощаю их в слове – простите за высокий стиль. Я не просто должен, я обязан написать эти свои книги прозы. Больше некому, говорите? Это уж точно. Верите, что напишу их? Да, это важно для меня.

Спрашиваете, пишу ли я и стихи сейчас? Да, пишу. Головы на все не хватает. Вот, получилась тут нелепость. Хотел недавно посмотреть начало новой книги стихов. То, что я мыслю книгами, вы знаете. Стал искать – нет рукописи, нет, и все тут. И то ли я ее в Москве забыл, то ли потерял, не соображу никак. Голова этой моей прозой занята, и я все время вроде как в другом измерении пребываю, там, в речи прозы, которую слышу и записываю по-своему, потому что свое у нее дыхание, свой ритм. А тут потянуло к стихам. Но где их взять? Хорошо, старые мои криворожские друзья выручили, Алик и Соня Учителя. Я вспомнил, что в марте, когда навещал в Кривом Роге маму, перепечатал в одном экземпляре тридцать с чем-то стихотворений новых и подарил им. Позвонил, объяснил, в чем дело. И они, буквально дня через три, прислали мне бандеролью эту переснятую на ксероксе компактную машинопись. Как хорошо, согласитесь, что есть такие вот чудесные люди на свете! Где сама рукопись – не знаю. Но начало новой книги – опять со мной, и, думаю и надеюсь, появится и продолжение. Книга ведь сама говорит, когда ее надо записывать. Тогда, когда я ее слышу, звук ее слышу, и когда вижу очертания, как некое кристаллическое образование, как соты.

Я не утомил вас? Отвык разговаривать. С годами косноязычным стал. Говорю с пятого на десятое. Нет? Ну, ладно. А то у меня все слова туда, в писа-

ния мои, уходят. Эх, помните, когда я молодой был, как мы с вами, бывало, говорили! И сейчас хорошо говорим? Ну что же, значит, так и есть. Я-то сам, прежде всего, слушать именно вас рад всегда.

Но, раз вам хорошо со мной, а мне так уж точно очень хорошо с вами вот так, по старинке, сидеть себе рядышком да разговаривать, можно это занятие и продолжить.

Вы помните тот занятный эпизод, с Нобелевской премией?

Тогда, примерно в мае или в самом начале лета девяносто шестого года, навестил я вас, как всегда, вместе с другом Ишкой. Мы сидели у вас на веранде, я – напротив вас, как обычно, и о чем-то говорили, допустим – о погоде.

Как всегда, присутствовал на веранде и народ, ваши гости и постояльцы, причем в изрядном количестве, но это нам нисколько не мешало.

Диалог наш длился, и постепенно от погоды мы перешли к более высоким материям.

И вдруг пришел некто, не помню уж, кто именно, – и принес газету. «Независимую».

Старую, уже затрепанную. Кажется, еще апрельскую.

Этот некто, не обращая ни на кого, в том числе и на меня, никакого внимания, с порога ринулся к вам, тыча пальцем в газетную, слегка пожелтевшую, сложенную вчетверо полосу, где я успел заметить собственную фотографию.

Некто размашистым жестом протянул вам газету – и, слегка даже заикаясь от волнения, изрек срывающимся голосом, в котором наигранный пафос граничил с таким изумлением, какого он, видимо, сроду не испытывал:

– Алейников!.. Нобелевская!..

Разговоры за столом, чаепитие, дегустация разливного совхозного портвейна и прочие процедуры сразу прекратились.

Все оторопели. А кое-кто и просто онемел, так и остался сидеть с открытым ртом.

Вы же спокойно взяли в руки газету, посмотрели, что там напечатано, и сказали:

– Здесь написано: «Недавно стало известно, что обсуждается вопрос о выдвижении Алейникова на соискание Нобелевской премии».

Напомню, что в этой газете было опубликовано интервью со мной, поскольку год был у меня юбилейный, мне исполнилось пятьдесят лет, – а сверху, над текстом интервью, помещена была так называемая врезка, где вкратце говорилось о том, кто я такой, какова моя деятельность и так далее.

Я попытался было объяснить все это гостям, но никто меня не слушал.

Народ вел себя так, будто я эту премию уже получил.

На меня смотрели с почтением, так, будто я стал, например, выше ростом на несколько голов, или пришел сюда, весь увешанный орденами, или в короне на голове, с державой и скипетром в руках, в горностаевой мантии на плечах.

Надо же, как действуют на людей подобные известия!

Было мне и смешно, и грустно.

Я переглянулся с вами и увидел, что вы реагируете на все происходящее сходным образом.

Вокруг ваших глаз уже собирались лучистые морщинки улыбки.

В это время на веранду ввалилось еще человек десять гостей. Один из них тащил на плече внушительных размеров видеокамеру, а под мышкой нес раздвижной треножник.

За ним шла накрашенная дама в темных очках и несла сумку с кассетами и микрофон.

Их встретили криками:

– Алейников!..
– Премия!..
– Нобелевская!..

Мужик с видеокамерой, ни минуты не мешкая, установил свое съемочное орудие на треножник – и, бросив короткий взгляд в ту сторону, куда ему указывали разволновавшиеся посетители веранды, то есть на меня, принялся меня снимать.

Я попытался было объясниться с публикой еще разок, но куда там!

Картина получалась такая, что хоть караул кричи.

Девицы в купальниках, только что вернувшиеся с моря, придирчиво расспрашивали меня, сколько же я теперь денег отхвачу.

Проснувшиеся от шума похмельные молодые ребятишки предлагали всем скинуться и широко отметить событие.

Какой-то щуплый мужичонка, – поэт-юморист из Старого Крыма, как оказалось, – пробивался ко мне, издалека еще призывая меня помочь ему издать книгу.

А тут еще подъехала машина – и на веранду завалилась компания из Феодосии.

Видя весь этот бедлам, вы встали с места.

Все затихли.

Вы сказали публике:

– Я считаю, что Володя Алейников достоин не только Нобелевской премии, но и большего.

Публика выжидающе слушала.

Вы продолжили:

– В газете сказано: «обсуждается вопрос о выдвижении». Это ведь не значит еще того, что премия у Володи в кармане. Такое дело так вот сразу не делается. Придется и подождать. Поняли теперь, что к чему?

Но публика – не хотела понимать.

У нее появился повод для выпивки и всеобщего веселья.

Вы поглядели на своих гостей, махнули рукой и сказали, обращаясь только ко мне:

– А впрочем... Пусть веселятся!.. Володя, я рада. Все у вас будет хорошо. Вы только работайте, пишите. Остальное произойдет само собой. Вы знаете давно, как я люблю вашу поэзию и верю в вас. Давайте-ка посидим вот здесь, в сторонке, рядом.

И мы присели в сторонке. И я рассказал вам, сколько хлопот доставили мне эти газетные известия о полагающейся мне Нобелевской премии.

На родине, в Кривом Роге, земляки тоже решили, что премию я уже получил. Маме непрерывно звонили, поздравляли. У нее хватало юмора, чтобы отвечать как надо, но и она вскоре устала от звонков.

Моя учительница украинского языка и литературы, Евгения Григорьевна, ликуя, сказала ей:

– Мария Михайловна, поздравляю вас! Бунин – и наш Володя. Два нобелевских лауреата. Замечательно! Я счастлива!..

И уже невозможно было переубедить людей, им нравилось верить в то, что премию я получил.

И так далее. Такая вот была история...

Вы улыбались, и я видел, что вы сами верите в эту премию.

Опять почитать вам? Не поздно ли? Никогда не поздно? Хорошо. А что же? Вы знаете, сколько их у меня, этих стихов. Да, вы это лучше других знаете. Какое стихотворение? Ах, это? Да, пожалуй. Вы правы, в книгах девяностых годов оно – одно из ключевых. Вот, послушайте.

Мне знать о том сегодня не дано, кто книгу эту в будущем откроет, кто душу несговорчиво настроит на то, что было слишком уж давно. Подобие воздушного моста протянется незримо между нами – и с новыми сомкнутся временами слова мои – наверно, неспроста. Ну, здравствуй, здравствуй, – сердце отвори навстречу лихолетью и печали, где речь мою впотьмах не замечали, хотя она светилась изнутри. Прислушайся к дыханию в ночи, вглядись туда, где больше, чем у прочих, кипело чувств, до шума не охочих, – пойми и помни, помни и молчи. И незачем, пожалуй, объяснять, чего когда-то стоило все это – весь этот мир, где таинства и света довольно, чтоб вселенную обнять. И, светом этим издали ведом и таинства почувствовав биенье, ты сам придешь ко мне хоть на мгновенье сюда, где дух мой жив и прочен дом.

Нам с вами говорить, Мария Николаевна, можно еще и еще. И читать вам стихи – это всегда радость для меня. Какой вы все-таки светлый-пресветлый человек! Мы общаемся, и у нас вроде происходит какой-то благотворный взаимообмен энергиями, я это чувствую. А вы? Вы давно это знаете? Да, особенный, совсем особенный вы человек в моей жизни. И в судьбе. Вы говорите, что нам пора прощаться? Нет, я-то не устал. Это я вас должен беречь и щадить. Все-таки пора? Ну, хорошо. Бог в помощь вам, дорогая Мария Николаевна, – там, где вы сейчас живы. И вы мне говорите – с Богом.

Юность №1
Январь 2021

ЗОИЛ

ТРАГЕДИЯ НЕУДЕРЖИМЫХ

ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ. «ФИЛЭЛЛИН» («АСТ», РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ, 2020)

ИВАН РОДИОНОВ
Родился в 1986 году в г. Котово Волгоградской области. Живет в Камышине. Поэт, критик. Автор книги «сЧётчик. Путеводитель по литературе для продолжающих». Участник «Тавриды-2020» и «Мастерской Захара Прилепина — 2020». Преподает русский язык и литературу.

Встревожен мертвых сон, – могу ли спать?
Тираны давят мир, – я ль уступлю?
Созрела жатва, – мне ли медлить жать?
На ложе – колкий терн; я не дремлю;
В моих ушах, что день, поет труба,
Ей вторит сердце...

Байрон, 1823 год

То ли, как скажут нам историки, причиной тому Наполеоновские войны вкупе с развитием капитализма и стремлением к расширению экономических и личных свобод, то ли прав был Лев Николаевич Гумилев и что-то такое случилось с солнечной активностью, но факт остается фактом — в двадцатые годы в Европе появилось большое количество трикстеров-пассионариев. Поскольку война закончилась, а в большинстве европейских стран победила некоторая реакция, область, где они могли бы применить свою неуемную энергию, осталась одна — борющаяся за собственную независимость Греция.

Так появились филэллины. И именно об их феномене, и разрушающем, и созидающем — но неизменно трагичном, — и повествует Леонид Юзефович в своем новом романе.

Кто и что есть в «Филэллине»?

Есть в нем Григорий Максимович Мосцепанов, отставной капитан, участник войны, потерявший на ней пальцы на ноге. Без большого, важного дела, которое было бы больше его самого, он мается — пробует различные проженты на Урале, пытается воевать с бюрократами и казнокрадами, нарываясь на арест, пишет фантастические письма самому Аракчееву.

Есть грек Константин Костандис, лекарь, утративший родину и вынужденный постоянно скрывать свои истинные мысли и устремления: «Переводчик с мира теней — вот моя вторая профессия».

А вот еще один филэллин, французский полковник Шарль-Антуан Фабье. Как и Мосцепанову, ему на войне изувечило ногу. Увечье как активация ахиллесовой пяты. Ахиллесовой пяты неприкаянности. Его мысли, кстати, напоминают мысли Байрона у Моруа — он невысокого мнения о греках и Греции, но что-то его туда неудержимо тянет. А вот как говорит Фабье:

«Греки – те еще мошенники, не обольщайся на их счет, – умерил я ее восторги.

Она взглянула на меня так, словно услышала непристойность.

“Их испортило многовековое рабство, – добавил я. – Они жестокосерды, коварны, склонны к воровству и обману”.

«Тогда почему ты с ними?» – последовал вопрос.

«Потому что, – ответил я, – они великодушны, честны, отважны, готовы к самопожертвованию».

Думается, еще бы некоторое количество филэллинов — и перевернулось бы все не только в Греции, но и в мире. Хорошо ли это? Не уверен.

А еще в «Филэллине» есть два героя, наличие которых оставляет нам, нефилэллинам, некоторую надежду. Агенты нормы в безумном мире. Надежный Максим Максимыч и преданная Вера при непредсказуемом и опасном Печорине. Это майор Чихачев и возлюбленная Мосцепанова Наталья Бажина.

Есть Греция как недосягаемая, величественная мечта — и реальная Греция девятнадцатого века: «Кругом грязь, помоги, воняет отхожим местом», — по словам одного из героев. У того же Моруа об этом написано так:

«Наконец после долгой поездки верхом между сосен и оливковых деревьев один из проводников вскричал:

– Господин, господин, деревня!

Это были Афины».

Именно книга Моруа «Дон Жуан, или Жизнь Байрона» отчасти близка «Филэллину». Ее герой, романный Байрон, — такой же классический филэллин. Кроме того, книга Моруа тоже основана на фактическом материале, но при этом является все-таки художественной.

Книга Леонида Юзефовича, впрочем, вполне самодостаточна. Есть в ней, например, редкая сейчас в нашей литературе пестрая полифония разноречья: писем, дневников, донесений, — сливающаяся в конце в строгий, точный язык эпоса — как раз таки в греческих традициях.

Наконец, есть в книге и власть: вельможи, а также еще один главный герой книги — император Александр Первый. Власть архетипична — ей нужно взвешивать возможности и просчитывать последствия, но трагизм в том, что все взвесить и рассчитать не получится никогда, и оттого единственно верного разрешения того или иного противоречия найти нельзя. И император неправ именно в своей правоте. Рационализм власти в этом смысле менее эффективен, нежели, например, экзальтация баронессы Криднер, надоедающей императору прозрениями и пророчествами, как у Толстого Каренину надоедала графиня Лидия Ивановна. А отсюда один шаг до вот какой мысли: природа власти неизбежно мистична. Никакие выкладки, расчеты и экономико-политические штудии не могут спрогнозировать того, что где-то на Урале есть Мосцепанов, у которого имеется некая Тайна. И этот несколько комичный поначалу Мосцепанов послужит спусковым крючком для изменения Истории.

А власть, кажется, и поныне не может правильно оценивать природу свою, пытаясь лавировать между обоюдоневерными решениями. И оттого всякая власть в итоге сталкивается с осознанием краха собственных начинаний:

«Он всегда готов встать за добро против зла, но лишь при условии, что не надо высчитывать, на чьей стороне его больше. А если потребуется сначала отделить одно от другого, потом разложить то и другое на разные чаши весов и смотреть, какая перетянет, ошибиться можно и при сортировке, и при взвешивании».

Интерпретаций важного, глубокого романа Леонида Юзефовича может быть множество. Осмелюсь предложить две. Первая: нет никакого времени. Ситуации и события повторяются, и от всех нас останутся записи и дневники — и эпос той или иной степени героичности. И вторая: даже эта повторяемость предельно хрупка, и один шаг, одна Тайна отделяет ее от иной, героической, но более кровавой повторяемости.

И, как говорил классик, «несчастна та страна, которая нуждается в героях». А если вдруг не нуждается, несчастными становятся сами герои.

ЛЕСТНИЦА ДАРИАНА

РЕЦЕНЗИЯ НА РОМАН АНДРЕЯ ВОЛОСА «ЦАРЬ ДАРИАН»

АЛЕНСАНДРА ЛЕЙФЕРОВА
Родилась в городе Кирово-Чепецке Кировской области. Окончила Вятский государственный университет. В прошлом инженер-химик, с 2013 года занимается литературной работой, пишет для различных интернет-проектов. Ведущая дискуссионного читательского клуба «Зеленая лампа» при Кировской областной научной библиотеке имени А.И. Герцена.

В рамках современного литературного процесса произведение, написанное ясным языком в реалистической манере, не имеет шансов на то, чтобы в него вчитались. Именно поэтому оценки не выйдут за рамки традиции, как на первый взгляд не выходит за них сам опус.

«Исторический роман, — дает определение произведению Мария Богомолова в рецензии на сайте “Год литературы”*. — Главным героем этого романа, столь богатого сюжетными поворотами, является само время».

«В каждую историческую главу… писатель смог “вдохнуть жизнь”… Перед читателем проходит череда ярких личностей… и… сам царь Дарий, прошедший сложный путь… до отшельника, пытавшегося разгадать тайну уходящего времени». (Автор заметки**, в целом посвященной длинному списку премии «Большая книга», толкуя о царе Дарии, и вовсе допускает ошибку: на самом деле роман Андрея Волоса называется «Царь Дариан»***.)

Однако внимательное прочтение разрушает заведомо предполагаемые стереотипы.

Да, роман сложен из трех временных пластов, но это совсем не делает его историческим. Объединение разных эпох в единый сюжет — испытанный прием. Встречая сведенных вместе персонажей разных эпох, читатель должен найти то, что их объединяет. В этом до поры скрытом общем содержится зерно главных авторских идей.

Герои Андрея Волоса очень далеки друг от друга во времени и пространстве, но каждый из них попадает в свои жернова хаоса и испытывает на себе ужас их равнодушного вращения.

* https://godliteratury.ru/projects/patrin-volos-i-car-darian
** https://u24.ru/news/52740/chto-pochitat-na-karantine-longlist-rossiyskoy-premii-bol
*** «Дружба народов», №3 за 2019 год.

Молодой филолог, чувствуя страх и бессилие, бежит из таджикского Душанбе, охваченного предчувствием кровавой смуты.

Каллиграф Афанасий Патрин, живущий в Константинополе XII века, тоже не властен над красочным, экзотическим кошмаром реальности.

Легендарный царь глубокой древности Дариан лишается царства и становится сначала рабом, затем учителем, а в конце концов отшельником и святым.

Что у них общего, кроме общечеловеческого трагизма бытия?

Первый герой счастливо влюблен. Она таджичка, и оба они побаиваются ее отца, Шарафа Мирхафизова, председателя богатого колхоза имени Двадцать второго партсъезда, человека с сильным характером. Возможно, отец не возражал бы против межнационального союза, но он понимает, что всё вокруг катится к катастрофе, и согласен на их брак лишь при условии немедленного отъезда молодых.

Героя тоже томят дурные предчувствия, ведь решительно на всем проступает печать скорых и ужасных перемен. Катастрофа, следующая за потерей людьми человечности, не менее страшна, чем стихийные бедствия, уносящие бессчетные жизни. «Загудела земля, предвещая дрожь и конвульсии. Страшной судорогой свело ее косное тело, стало оно колоться, раскаленная магма поперла из трещин, прогнулась казавшаяся незыблемой материковая плита и нахлынули в котловину волны времени — громокипящие, камнекрушащие».

Событийный ряд напряжен: тут и отъезд матери, и прощальная поездка героя к двоюродной сестре, и ее самоубийство. За неразберихой на таможне и нехваткой авиатоплива явственно стоит страшная тень гражданской войны. Пусть беглецов ждет скудная жизнь изгнанников, но они будут счастливы собственным тихим счастьем. Увы, героям не суждено долго им наслаждаться: Баюшка умирает родами.

В череде судьбоносных событий трудно обратить внимание на мелкий, никак не выделенный автором эпизод. Друг и коллега делает герою прощальный подарок — книгу, похищенную им в отделе древних рукописей, — чтобы спасти хоть крупицу того богатства, которому в случае неблагоприятного поворота событий — захвата города талибами — грозит полное уничтожение…

Второй герой — гражданин города Константинополя каллиграф Афанасий Патрин. Он не желает никаких перемен и не собирается никуда бежать. Правда, император Андроник Комнин жесток и бездушен, его власть тяжела и кровава, однако Патрин надеется, что лично его ужасы правления не коснутся, ведь император занят уничтожением только тех, кто грозит трону. Патрин — тихий человек, ремесленник, занятый работой и домом, — не должен оказаться в числе врагов Андроника. Афанасий любит жену и сына и озабочен понятными вещами. Он собрался купить небольшой участок земли близ дома, отдал задаток, надо завершить сделку, а тут как назло нет денег, и, чтобы как-то выкрутиться, надо закончить работу, заказанную ему одним из многочисленных родственников Андроника. Случайно оказавшись в гуще событий, в результате которых император действительно лишается трона, скромный каллиграф погибает, став жертвой пущенной вслепую боевой стрелы, и вторая половина книги о царе Дариане остается без его красочных миниатюр.

Герой третьей части романа — сам царь Дариан. Его жизнеописание — это энкомий, аналог жития, герой которого не святой, а полководец или правитель. Дариан проживает полную превратностей жизнь. Вместо

того чтобы вкусить плоды закономерно ожидаемой воинской победы, он попадает в плен. Брат Тротиан называется его именем и занимает трон. Дариана не выкупают из плена, а продают в рабство. Он поневоле делается зандастом-гладиатором. Искалеченный и никому не нужный, он живет на положении брошенной собаки. Затем его увозит с собой некий перс: Дариан будет учить его детей греческому. Ненадолго обретенное хрупкое благополучие рушится со смертью милостивого перса. Нищий Дариан уходит в скитания и после многих лет отшельничества каменеет, превращаясь в продолжение скалы. Мазар святого Дариана находится неподалеку от кишлака Рухсор: там располагалась центральная усадьба колхоза имени Двадцать второго партсъезда, откуда родом Мухиба, уже знакомая читателю несчастная Баюшка.

О том, что время идет по кругу, упорно говорят все герои повествования — говорят немногословно, но приметно.

Вот и само повествование красиво сошлось в замкнутую фигуру — только не в круг, а, скорее, в треугольник.

Одна его сторона — история филолога. Другая — жизнь и смерть Патрина. Третья — житие царя Дариана.

Однако эта геометрически стройная конструкция физически неравновесна. Первые две стороны треугольника — живые люди, наделенные реальной жизнью со всеми ее радостями и горестями. А третья сторона — фикция, ведь царь Дариан — не человек, он — персонаж.

В отличие от полнокровно реалистичных филолога из Душанбе и каллиграфа из Константинополя, царь Дариан с самого начала рисуется фигурой более легендарной, нежели исторической, скорее воображаемой, чем реальной.

Он появляется в сказочных декорациях, в кругу пышных, гиперболизированных знаков роскоши и славы, словно сходит с миниатюры в рукописи Афанасия Патрина. С переменой участи роскошные картины Дарианова царства тускнеют, само повествование становится сдержаннее, зато по мере несчастий герой все более оживает. Теряя благополучие сказочного царя, он выступает из двумерного изображения, поднимается над плоскостью красочной миниатюры, становится объемным.

Но, несмотря на то что к концу рассказа Дариан несомненно очеловечивается, он все же по-прежнему остается персонажем.

Как же так? Странный треугольник: почему две его стороны из плоти и крови, а в качестве третьей — весьма условное изображение?

Если читатель находит ответ на этот вопрос (правда, для начала ему нужно им задаться), он испытывает искреннюю радость. Неожиданная разгадка позволяет увидеть за личиной третьего героя живое лицо. И одновременно вплотную подойти к одной из главных идей романа.

На самом деле третья сторона треугольника принадлежит вовсе не персонажу, а тому, кто его создал, — автору!

Тогда все становится на свои места. Три стороны, три вершины: автор, соавтор (ведь Патрин не просто оформитель, он насыщает страницы своими чудными миниатюрами) и читатель-филолог. А фигура царя Дариана — это всего лишь изображение на обложке.

Но кто он, этот автор? В лемме, предваряющей книгу, говорится лишь, что ее составил некий «грешный монах Николай», закончивший свой труд 10 мая VII индикта 6502 года от сотворения мира (в 994 году). А где это произошло, в каком монастыре или городе, сколько лет в ту пору было

грешному монаху Николаю, кто он родом и откуда, с кем рос, почему и как принял постриг, — все укрыто мраком тайны, мы ничего не можем узнать.

Но как ни хотел автор спрятаться за своим героем, а все же его живые черты неизбежно просвечивают сквозь маску персонажа. Мы имеем дело с выдуманным царем — но на нем оттиснута личность его создателя. Читая описания жизни раба и скитальца, нельзя не заподозрить, что автор на своей шкуре прочувствовал все или почти все, о чем пишет: сам оказывался в плену, сам был рабом и сражался на арене. Что касается учительства — тут и сомнений быть не может.

Наделяя своего героя собственными чувствами и размышлениями, грешный монах Николай обращается к читателю из темной глубины веков.

Что же он говорит? «Рука писавшего сгниет в могиле, написанное останется на долгие годы».

Благодаря положенному на пергамен житию Дариана эта рука остается живой — и она протянута двум другим героям романа.

Кризис нарушает иерархию явлений окружающего мира и порождает нарушение иерархии эмоций. Дифференциация впечатлений — это не линейная эволюция от чувственных ощущений к сокровенному смыслу. Скорее, это движение напоминает лестничные переходы на гравюрах М.К. Эшера. Идущий думает, что шагает вверх, — ан нет, путь ведет вниз. А вот ступеньки вроде бы нисходят — но вопреки очевидности он оказывается на вершине. Высокое и низкое, священное и профанное находятся рядом и, более того, то и дело меняются местами.

Филолог, ведя свой рассказ, движется от множества ярких и пряных, но незначительных картин к смутному предчувствию общей беды. Начало войны, исход-бегство, страшное самоубийство двоюродной сестры. Любовь к Баюшке, по-настоящему осознанная только после ее смерти, весть о гибели Рустама, одиночество и потерянность: «Человек инстинктивно убежден, что если сегодня все хорошо, то завтра должно быть еще лучше... Увы, увы. На смену ясному дню не приходит еще более лучезарный день. На смену дню приходит ночь».

Очевидно, что он шагнул вниз, — и вдруг его возносит на самую вершину: у него в руках бесценная рукопись. Средоточие чувств космической высоты, вызванных ею, невозможно без прохождения героем всех предыдущих уровней иерархии, всех странствий-мытарств души.

Кровавые интриги и социальные катаклизмы не слишком занимают мысли Афанасия Патрина. У него много забот, однако насущное не заслоняет его радостной веры, загадочных снов, любопытства, спокойных размышлений. Мир простых ощущений Патрина порождает в нем медитативное состояние покоя и гармонии. Он взлетает к небесам — и вдруг рушится в самую пучину мятежа и собственной гибели.

Царь Дариан тоже падает, взмывая, и поднимается, рушась.

Катастрофические сюжеты подталкивают героев к поиску того, что было бы вынесено за скобки подверженного порче мира. Та поворотная ступень, с которой в романе Андрея Волоса начинается траектория общего движения, — это Искусство, а рукопись — вершина ценностной иерархии.

«Когда все было кончено, на успокаивающихся волнах качалась только эта книга... Все иное исчезло, разрушилось, кануло в небытие».

Героев нельзя назвать победителями в обыденном, житейском понимании. Но каждого из них ждет небывалая награда — преодоление оков

времени. Они отражаются друг в друге, они мысленно проницаемы друг для друга и более всего напоминают реинкарнации одной и той же личности. У них разные роли — автор, соавтор, читатель, но Искусство, позволяющее подниматься от частных трагедий к его общей красоте, дает им возможность обмениваться мыслями и ощущениями, становиться одним целым.

Жизнеописание царя Дариана, составленное монахом Николаем, переписанное и проиллюстрированное Афанасием Патриным, воспринимается филологом не только с точки зрения литературоведения — он видит его через призму собственной судьбы. Кроме того, обретя рукопись, он и собственную жизнь может воспринять как некую историю. Фактически на руинах своей жизни он сам становится Дарианом: «Я буду сидеть так день за днем и ночь за ночью. Постепенно трава оплетет мои ноги, в одном ботинке поселится мышь-полевка, в другом землеройка или просто дождевой червяк, под мышкой заведут гнездо осы, а на голове — синичка или малиновка. Я буду сидеть, сидеть... но когда-нибудь все же смогу вырваться из этого тягостного сна, прийти в себя и начать жить заново».

Такой же медитативный покой нисходит и на царя, ставшего святым отшельником. Он растворяется во времени и одновременно преодолевает его: «Идет время, думал он, уже давно не пытаясь раскрыть глаз, куда же оно идет? И приходит ли назад, достигнув цели своего путешествия? Ведь все возвращается — и снег, и цветы, и птицы, и облака. Может быть, и время тоже? Ну да, понимал он во сне, оно же просто идет по кругу — точь-в-точь как скотоводы, что раз за разом, год за годом гонят свои стада вековечным маршрутом. Значит, и время однажды, замкнувшись, двинется по своим следам, и все начнется заново. Надо только дождаться».

Отголоски тех же «мыслей о мыслях» посещают и Афанасия Патрина: «Он давно уже понял, что, в сущности, человек почти всегда думает об одном и том же — о том же, о чем думал вчера и будет думать завтра. Все разнообразие определяется лишь тем, что у него есть несколько областей для раздумий. Мысль кочует по ним примерно так же, как кочуют скотоводы, гоня свои стада и отары: от века заведенным кругом, неуклонно возвращаясь к зиме туда, откуда прошлой весной начали свой долгий путь. Вот и следует одной дорогой, заново встречая все то, что давно знакомо, но воспринимается как новое. А потом возвращается к началу, начинает новый счет... и, как ни странно, именно это ограниченное движение создает ощущение жизни».

В описании того, как Дариан «руцей Божией был вознесен на небо», ясно слышен не только голос монаха X века. Детали говорят о том, что к финалу истории функции автора разделяет с Николаем и филолог, ведь только он мог упомянуть о том, что чудо вознесения Дариана произошло совсем неподалеку от родных мест Баюшки.

Двое влюбленных забираются на скалу, частью которой стал окаменевший Дариан. «Если бы еще они жили в большом поселке Рухсор, где находится главная усадьба колхоза “Ба номи бисту дуюми Партсъезд”, что значит “Имени двадцать второго Партсъезда”... Но они были из совсем небольшого кишлака восточнее Рухсора...»

Сложная траектория лестниц Эшера описывает эволюцию не только восприятия, но и творческой роли — от читательской к авторской.

Утешение Искусством, доступное немногим к нему причастным, могло бы выглядеть как акт пусть высокого, но эскапизма. Однако финал романа вселяет надежду, что этот путь не заказан и другим.

Растворившийся в природе, погребенный в скале отшельник Дариан ждет своего часа. Час наступает, когда юноша, защищая любимую, отрубает голову ядовитой змее. Эта сцена столь явно взывает к культурным архетипам, что не может не быть символом: «...Отделенная от тела голова эфы отпрыгнула в сторону, а само оно стало беспомощно извиваться. Однако случилось и нечто большее, совсем неожиданное: лезвие рассекло не только аспида, но и саму скалу под ним. <...> Скала с кряканьем расселась, а из глубокой трещины вырвался узкий и стремительный язык синего пламени.

Не причинив им, застывшим от изумления, никакого вреда, луч метнулся ввысь, мгновенно озарив окрестности, и медленно растаял в глубине темнеющего неба».